

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

6
1991



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ДИСКУССИИ

- СССР и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в середине и второй половине 1940-х годов 3

СТАТЬИ

- Сладек З.* (ЧСФР). Русская и украинская эмиграция в Чехословакии 24
Семенов К. Н. Режим БЗНС — форма социал-максимализма? К постановке проблемы 37
Липатов А. В. Чеслав Милош в журнале Польской Академии наук 48
Прокофьева Д. С. О некоторых чертах «поэтической прозы» эпохи романтизма 59
Медведева О. Интертекстуальность и восприятие: драма Тадеуша Мициньского «Князь Патемкин» 67
Числов И. М. О последнем издании Карейского типикона св. Саввы Сербского (анализ наборной транслитерации текста) 79
Ефимова В. С. К открытию собрания древних славянских рукописей на Синае (в связи с публикацией монографии: Tarnanidis I. Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catarine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988) 85

СООБЩЕНИЯ

- Лаптева Л. П.* Русский славист XIX в. П. П. Дубровский (1812—1882) 93

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

- Смирнов Л. Н.* О переводах произведений Св. Гурбана-Ваянского в дореволюционной России (к 75-летию со дня смерти) 102

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Воробьева И. Г.* I. Pederin. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409—1797) 109
Носов Б. В. T. Cegielski, L. Kaździela. Rosbiory Polski 1772—1793—1795 110

6

1991

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«ЦАУКА»

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Досталь М. Ю. Новое о М. П. Погодине	116
Кириллова-Угрюмова Т. В. Конференция, посвященная памяти А. Х. Клеванского	118
Библиография работ А.-Э. Н. Тахиаоса (к 60-летию со дня рождения)	120
Памяти Велчо Велчева	124
Новые книги	124
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 1991 году	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУТНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАШУБА,
В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
Л. Н. СМIRHOV (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОРИЯ,
М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ДИСКУССИИ

СССР И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В СЕРЕДИНЕ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-Х ГОДОВ

Кардинальные изменения, происшедшие в Центральной и Юго-Восточной Европе (ЦЮВЕ) осенью 1989 г., вызвали необходимость по-новому взглянуть на истоки авторитарно-тоталитарных режимов в государствах региона, проанализировать ситуацию, в которой возникли так называемые «народные демократии». С этой целью сектором истории международных отношений Института славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) и редакцией журнала «Советское славяноведение» в марте 1991 г. проведен «круглый стол», участники которого стремились наметить возможные направления исследования процессов, происходивших в странах ЦЮВЕ в середине — второй половине 40-х годов.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я., зав. сектором (ИСБ)

Сегодня речь пойдет о периоде от освобождения восточноевропейских стран от гитлеровской оккупации или доминации (страны-сателлиты) до окончательного утверждения и оформления новой общественной системы, которую мы именовали «социалистической». Этот этап истории стран ЦЮВЕ получил название «народной демократии». Именно оттуда берет начало порядок, который на наших глазах с поразительной быстротой рухнул, как только изменился внешний фактор — Советский Союз. И именно СССР сыграл важнейшую, если не решающую, роль в установлении этого порядка.

Складывавшиеся в те годы отношения между СССР и странами ЦЮВЕ стали, с одной стороны, важнейшим фактором внутренних изменений в этих странах, а с другой — стержнем того международного явления, которое первоначально называлось «лагерем мира, демократии и социализма», затем «социалистическим лагерем», и наконец, «социалистическим содружеством». В мировой литературе это именовалось гораздо проще и, может быть, яснее и выразительнее с точки зрения существа — советский блок или «восточный блок».

Система отношений СССР со странами «блока» включала в себя не только все сферы связей, обычно существующих между государствами, — политические, экономические, военные, культурные и другие, причем во всех Советский Союз играл роль центра-законодателя, устанавливавшего основы нового порядка. Она также включала в себя такие специфические связи, как деятельность репрессивно-карательных органов и сфера идеологии, насаждения определенного массового сознания. Последняя должна была внутри этих стран, с одной стороны, стать идейно-психологическим оправданием происходящих перемен, с другой — создать массовую базу для возникающих режимов и для новой системы отношений между ними и СССР, особенно там, где такой базы первоначально не было. Ибо во многих странах ЦЮВЕ в указанный период происходят события, во многом вызванные тем, что база новых режимов оказалась на самом деле чрезвычайно узкой, и становлению такого рода отношений с СССР оказывалось большое сопротивление. Значение СССР как внешнего фактора в этих условиях чрезвычайно возрастало.

Говоря о проблемах, поставленных на сегодняшнем «круглом столе», мы должны в полной мере учитывать систему историографических взглядов, подчас стереотипных или неадекватных, которая у нас много лет существовала и, хотя и сильно поколеблена, во многом подорвана, у ряда наших историков все еще, однако, в том или ином виде существует. В реальной науке стран ЦЮВЕ она в большинстве случаев уже рухнула вместе с крахом старого общественно-политического устройства. Наконец, есть и система взглядов, принятая за пределами бывшего «социалистического мира».

Если говорить о советской историографии, то перед нами стоят, в сущности, две взаимопереплетающиеся задачи. Первая — позитивное исследование того, что же на самом деле происходило, как строились и каковы были, по существу, отношения между СССР и странами ЦЮВЕ в этот период, какую реальную роль они играли. Вторая — критически оценить то, что написано в советской историографии, и прежде всего нами самими, потому что основные авторы, которые писали на эту тему, в большинстве находятся здесь.

Естественно, что перед каждым из нас встает проблема переосмысления: изменения собственного взгляда, проверки того, что писалось ранее. Любопытно, но советская историография данной проблемы совсем невелика. Почему-то всегда считалось, что у нас литературы по так называемому «социалистическому содружеству» пруд пруди. Сегодня мы уже можем сказать точнее — макулатуры на «общие темы» пруд пруди. Огромно количество обобщающе-идеологических текстов со схоластическими рассуждениями об оправданности и важности отношений нового типа. Работ же конкретно-исторического плана — единицы, а специально посвященных отношениям между СССР и странами ЦЮВЕ в середине — второй половине 40-х годов и того меньше. В основном об этом писалось не в специальных исследованиях, а в трудах о «народной демократии», по истории «социалистического содружества» в целом. Это, как правило, политологическо-пропагандистские опусы, содержащие минимум конкретики. Конкретно-исторические монографии по данной теме появились в СССР только в 80-е годы. И они наперечет. Это две книги В. С. Парсadanовой: «Советско-польские отношения в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945» (М., 1982) и «Советско-польские отношения. 1945—1949» (М., 1990). Это работа А. А. Шевякова «Отношения между Советским Союзом и Румынией. 1944—1949» (М., 1985). Это монография Л. Я. Гибианского «Советский Союз и новая Югославия. 1941—1947 гг.» (М., 1987). Наконец, вышедшая только что книга И. И. Попа «Чехословакия — Советский Союз. 1941—1947 гг.» (М., 1990). Плюс то, что называется «обобщающей монографией», которую выпустил наш сектор совместно с сектором истории внешней политики Советского государства Института истории СССР АН СССР: «СССР и страны народной демократии. Становление отношений дружбы и сотрудничества. 1944—1949 гг.» (М., 1985).

Почему же тема, которая, казалось бы, должна была быть одной из самых ходовых в прежние времена, специальной монографической разработки так долго у нас не получала? Думаю, тому две причины. Первое — разительный отрыв лозунговой истории от исторической реальности. В лозунговом исполнении, в общем плане этого касались многие и охотно. Но когда дело доходило до конкретно-исторического исследования, то даже тот отнюдь не закрытый фактический материал, который был в распоряжении историков, оказывался сплошь и рядом неприемлем с точки зрения официальных идеологических установок, с точки зрения цензуры, противоречия фальсификаторской официозной версии. И охотников всерьез этим заниматься не находилось, пока, наконец, не наступило время, когда уже стало возможным хоть в чем-то отойти от «железобетонного» канона, совместить неправду хотя бы с полуправдой. Вторая причина — полное отсутствие настоящей источниковой базы. Ибо все то, что было доступно обычному исследователю, опять-таки оставалось в основном на уровне лозунговых источников, торжественных деклараций, выступ-

лений, официальных материалов. Рабочие документы, касавшиеся взаимных отношений, — дипломатические, партийные, экономические, военные и др. — были почти целиком закрыты, за редким исключением, когда некоторым исследователям в силу тех или иных обстоятельств удавалось прорваться к тем или иным документам. Но дальше вставал вопрос о том, как эти документы использовать, вернее, что позволят использовать. Необходимы были фантастические ухищрения, чтобы в работах осталось хоть что-то похожее на реальность, ибо из них все вычищалось. Оставалась стерильная, благодатная картина замечательной интернациональной помощи Советского Союза братским народам восточноевропейских стран.

К сожалению, это обстоятельство сильнее всего сказалось и в трудах, вышедших в самое последнее время: второй из названных монографий В. С. Парсадановой и монографии И. И. Попа. Во-первых, потому, что они писались в предшествующие годы. И, во-вторых, потому, что издательская работа шла практически еще до того, как на рубеже 1989—1990 гг. произошел известный «обвал» в Восточной Европе. И, соответственно, издательство, точнее, система, все еще «стояла на страже». Что уж говорить о работах, вышедших несколькими годами ранее.

Сегодня при оценке ранее вышедших работ нужно определить, что в них имеется если и не бесспорного, то во всяком случае способного служить основой дальнейшего исследования, а что требует коренного пересмотра.

В исследовании проблем, которым посвящен наш «круглый стол», нужно, очевидно, двигаться по двум линиям. С одной стороны, переосмысления уже известного, а также нового материала на основе иных методологических посылок, ибо прежние, если их вообще можно назвать методологическими, были инструментом чистой политики. Политикой же ставились чисто пропагандистские задачи, на этом строилась вся трактовка. Другая сторона дела — это пополнять свои знания ключевым материалом, прежде всего тем, которого мы до сих пор были лишены: как принимались решения, каким образом, кем, на каком уровне, под влиянием каких соображений, в каких спорах, или наоборот, без споров и т. д. Это сейчас является особенно ценным, потому что, наконец, нужно попытаться построить реальную конкретно-историческую картину тех лет, а не исходить исключительно из общих соображений.

ВОЛКОВ В. К., д-р ист. наук, директор ИСБ

Проблема историографии освещена Л. Я. Гибианским абсолютно реально. И я хотел бы обратить внимание присутствующих на вышедшую в 1985 г. книгу «СССР и страны народной демократии», подготовленную ИСБ. Она носит все приметы времени. Однако книга примечательна в том отношении, что написана до перестройки, но имеет черты, я бы сказал, первых лет уже перестройки. Мы тогда, по-моему, взяли правильный курс, определив, что «восточный блок», или «социалистический лагерь» возник на заключительном этапе войны как военно-политический союз однотипных государств. Думаю, что сохранит свое значение и вывод о том, что в центре всех контактов между ними были «отношения нового типа». В монографии говорилось также о том, что связи между правящими коммунистическими партиями являлись ядром отношений между СССР и странами ЦЮВЕ. Думаю, это положение полностью соответствует действительности. Однако чем являлись тогда взаимосвязи между этими партиями? И вот тут мы подходим к таким проблемам, как формирование и деятельность компартий в период Коминтерна, формирование руководящих слоев, прохождение через школу большевизации, или сталинизма. И, наконец, обстоятельства их прихода к власти.

Я думаю, что здесь будет масса неясностей, хотя бы потому, что большевизм, как явление на мировой арене, у нас еще не исследован. Это предстоит сделать, иначе мы просто не поймем многого из того, что случилось на заключительном этапе войны и сразу после нее. А это чрезвычайно важно. Мы в свое время говорили о том, что произошел «выход

социализма за рамки одной страны». Если заменить одно слово и сказать «выход сталинизма за рамки одной страны», будет то, что, видимо, тогда и имело место. Другое дело, что, конечно, сталинизм сразу в готовом виде не пришел. Соотношение внутреннего и внешнего факторов в установлении новых политических режимов в тех государствах, где они потом возникли, — вопрос очень важный. Сейчас его обсуждают фактически во всех бывших «социалистических» странах ЦЮВЕ.

Конечно, здесь у каждой страны своя специфика, своя динамика, но я думаю, что после того, когда та или иная коммунистическая партия брала в свои руки бразды правления (пусть это был фактически однопартийный режим, как в Югославии, либо он камуфлировался как режим многопартийный), дальнейший путь развития был предопределен. Поэтому, мне кажется, та дискуссия, которая разгорелась у нас о «народной демократии» как иной модели, нуждается в очень серьезном осмыслении. Были, конечно, и другие факторы, которые влияли на становление этих режимов. Но я думаю, что внешний фактор являлся основным, ибо был создан уже прецедент. Дело в том, что война как бы оправдала все преступления сталинизма. Произошла какая-то абберация в сознании людей. Поэтому представлялось, скажем, в 1945—1947 гг., что советская модель — это действительно образец, достойный подражания, если не во всем, то по крайней мере очень во многом. Ведь тогда, так же как и после первой мировой войны, выросли государственно-монополистические рычаги управления экономикой. Государственная собственность в промышленности получила широчайшее распространение. В Англии, Франции были национализированы целые отрасли промышленности. На этом фоне казалось, что политика восточноевропейских стран и их правящих компартий не столь уж отходит от мировых образцов. Потребовались время, структурная перестройка всей экономики, огромные изменения во всем мире, чтобы этот вопрос прояснился. Должна была наступить постиндустриальная эпоха, чтобы все встало на свои места. Поэтому когда мы говорим о первых послевоенных годах, нужно постоянно учитывать социально-психологический фактор. Без этого мы многого просто не поймем.

Однако нельзя не видеть и того, что уже на очень ранних этапах буквально все страны, которые мы тогда называли либо «славянские страны», либо «страны новой демократии» вступали на путь репрессивных мер в отношении противников режима, как их тогда понимали. Например, Болгария в этом отношении была далеко впереди многих стран. Зимой 1944—1945 гг. там прошли народные суды над виновниками войны, затем последовала волна террора 1946 г., так что уже многое делалось и до того момента, когда в сентябре 1947 г. было создано Информбюро.

Что происходило на сентябрьском 1947 г. заседании Информбюро? Мы знаем некоторые заявления его участников о том, что опубликованные материалы не соответствуют реальной работе и задачам этого совещания. Фактически там шла речь об укреплении тех режимов, которые возникли в странах ЦЮВЕ, о ликвидации всех оппозиционных сил, об установлении того строя, который являлся тогда эталонным. Это и было основным содержанием работы Информбюро. Но я думаю, что развитие событий в конце 1947 и в 1948 г. было все-таки предопределено приходом компартий к власти в странах ЦЮВЕ.

Безусловно, внешний фактор в становлении режимов в странах ЦЮВЕ сыграл существенную, может быть, даже решающую роль. В некоторых странах это вообще безусловно. Но нужно учитывать еще и такое обстоятельство. Одно дело, когда строй навязывается сверху. Другое дело, когда внутри страны имеются общественно-политические силы, способные воспринять определенную модель развития. Скажем, Чехословакия, с территории которой после войны были быстро выведены советские войска, испытывала влияние внешнего фактора совсем в других формах, чем это происходило в Венгрии. В Албании вообще не было советских войск. В Югославии они тоже не присутствовали. Однако строй там развивался более или менее однотипно.

ПОКИВАЙЛОВА Т. А., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Мне хотелось бы проиллюстрировать положения, о которых здесь говорил Л. Я. Гибианский, некоторыми материалами. Не так давно я нашла данные о прямом влиянии советской администрации и советского правительства на разработку и принятие в Румынии законодательных актов и решений по аграрной реформе. 6 марта 1945 г. в результате острой политической борьбы в Румынии к власти пришло правительство Петру Гроза. Главным вопросом, который должно было решить это правительство, был вопрос об аграрной реформе.

12 марта 1945 г. встала проблема придания законодательного оформления начавшемуся разделу крестьянам земли. В тот же день в Москву на имя Молотова поступает телефонограмма из Бухареста за подписью Вышинского: «Товарищу Молотову В. М. Передаю проект Закона об аграрной реформе, подготовленный друзьями (друзья — конечно, коммунистическая партия и, вероятно, Фронт земледельцев, возглавляемый Грозой. — *Т. II.*). При составлении этого проекта использован польский закон. Проект был окончательно отредактирован с моей и товарища Павлова помощью. И обсужден на совместном совещании с друзьями... В этом проекте некоторые сомнения у друзей вызывает § А статьи 4, касающийся экспроприации земли у румынских граждан немецкой национальности. Друзья считают, что в условиях Румынии эта мера нецелесообразна, так как затронет значительную часть мелких хозяев (здесь идет речь о полной конфискации земли у лиц немецкой национальности. — *Т. II.*). Несмотря на это, я думаю, что эту меру нужно провести как направленную против немцев. Прошу Ваших указаний».

Имеются также замечания заместителя министра иностранных дел СССР В. Зорина на поправки заместителя премьер-министра Румынии Татареску к проекту закона о земельной реформе: «Общий смысл поправки Татареску заключается в стремлении спасти помещиков от раздела их земель. Сделать аграрную реформу кудей, половинчатой и по сути дела сохранить в Румынии старые аграрные порядки. Особенно ярким выражением этого является поправка „И“ о сохранении в руках помещиков, чьи земли подлежат разделу, ядра их — имения в виде домов, хозяйственных построек». Далее Зорин ссылается на Польшу, где либо проводится практика выселения помещиков из того места, где расположены их земли и усадьбы, в другую волость и получения ими там небольших участков земли, либо помещики отпускаются на все четыре стороны, получая денежное вознаграждение за конфискованную землю. «Эта практика является единственно правильной, — считает автор замечаний, — ибо таким образом можно решительно покончить с феодальной эксплуатацией и лишить помещиков всякой возможности восстановить свое господствующее положение». Этот абзац подчеркнут Зориным. «Из предложенной друзей записать в законопроект положение о том, чтобы на усадьбу добавить по два га сверх 50 га, видно, что они склонны согласиться принять эту поправку. Полагаю необходимым внушить друзьям, что эту поправку нужно отвергнуть и предусмотреть в инструкции по проведению аграрной реформы в Румынии такой же порядок, какой существует в Польше. Что касается других поправок, то они также в большинстве неприемлемы. Думаю, что можно согласиться на частичное возмещение стоимости посевов на конфискуемых землях (Поправка № 9)».

ПОП И. И., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

Хотел бы остановиться на некоторых узловых моментах периода 1944—1947 гг., на том, что не договорено (а, может быть, и недодуманно) в те годы, когда писалась уже упомянутая моя монография, законченная в 1987 г.

Прежде всего следует обратить внимание на специфику внешнеполитической концепции Чехословакии. Творцами и проводниками внешней политики Чехословакии были силы Сопротивления в стране и за рубежом во главе с президентом Бенешем. Специфика заключалась в том, что Бенеш и его сторонники однажды уже потерпели тотальное поражение в результате мюнхенского сговора. И, следовательно, были людьми с «мюн-

хенским комплексом», включавшим панический страх перед Германией, аллергическое недоверие к Западу и чувство собственной малости в политической игре великих держав. «Мюнхенский комплекс» Э. Бенеша, Г. Рипки, Я. Масарика неотвратимо толкал их и все чехословацкое политическое представительство в объятия Сталина. Чехословакия первой документально зафиксировала свое присутствие в «советской сфере» договором от 12 декабря 1943 г. В силу «мюнхенского комплекса» Бенеш и его окружение на протяжении войны усиленно создавали легенду об эволюции советского режима. В узком кругу соратников Бенеш, задолго до поворота на советско-германском фронте рассуждал, что после войны «Россия, славяне вообще будут играть решающую роль в Европе. Россия сблизится с Европой. И после войны никто даже и не вспомнит о большевизме». Внутренняя жизнь в Советском Союзе, считали Бенеш, Рипка, Масарик, демократизируется. Государство проводит уже политику национальных интересов, сближается с церковью, Коминтерн распущен. Страна полностью вышла из международной изоляции. Более того, стала вновь великой державой, искренне стремящейся к сотрудничеству с другими государствами в мире. Чехословацкие деятели без различия политической принадлежности хотели видеть стратегию в том, что для Сталина было всего лишь тактикой.

Ни один политический деятель в ЦЮВЕ и не помышлял о том, что Бенеш предложил Москве глубокой осенью 1943 г. А именно «С этого момента внешняя политика обеих стран (Чехословакии и СССР. — *И. П.*) должна быть скоординирована. Я должен знать, какой будет Ваша политика в отношении Германии, чтобы мы могли проводить общую линию по этой проблеме в отношении и Соединенных Штатов и Великобритании. Ибо здесь Прага должна проводить такую же политику, как и Москва. Тесное сотрудничество в военной сфере. Приспособлять наши планы к достижениям в Вашей военной науке, унифицировать вооружение, установить прямую связь авиаций двух стран».

Решимость Бенеша не могли ослабить отдельные голоса сомнения в искренности намерений Москвы, звучавшие как в чехословацких эмигрантских кругах, так и со стороны. В ответ на это Бенеш ссылаясь на декларации советского правительства о невмешательстве во внутренние дела стран Центральной Европы. Содержание подписанного в декабре 1943 г. в Москве договора, по мнению Э. Бенеша, Г. Рипки, Я. Масарика, было прямым обязательством СССР не вмешиваться во внутренние дела Чехословакии после войны.

Да, конечно, заявление советских представителей и текст договора не содержали ничего такого, что подтверждало бы высказывавшиеся опасения. Время подобных действий еще не пришло. Советская армия добилась только первых побед, а германская — оккупировала еще значительную часть территории СССР. Так что в Москве не было уверенности в будущем военном присутствии СССР в Центральной Европе. А договор с Чехословакией такую возможность уже открывал. Так зачем Сталину было отпугивать Бенеша?

Политика чехословацкого правительства имела под собой и прагматическую основу: СССР являлся единственным гарантом устранения последствий мюнхенского соглашения и венского арбитража. Лыстала и Москва Э. Бенешу, подчеркивая, что Чехословакию в послевоенном мире считает самым конструктивным элементом в Центральной Европе. Бенеш, Масарик, а также коммунисты тут же делали вывод, что Чехословакия будет иметь наиболее выгодные позиции среди центральноевропейских государств. Систему безопасности в регионе чехословацкие политические деятели видели не в договорных связях между странами региона, а в их прямом союзе с СССР. Таким образом, Бенеш и эмигрантское чехословацкое правительство создали как бы модель отношений малого государства Центральной Европы с СССР. Они исходили из предположения, что СССР будет стремиться только поставить барьер немецкому «Дранг нах остен». И если государства Центральной Европы будут ему в этом содействовать, то Москве незачем большевизировать страны региона. Ведь Советскому

Союзу достаточно иметь у своих границ ряд независимых государств, связанных с ним союзническими договорами. Тем большим был шок для Бенеша и его окружения, когда эта модель начала рассыпаться уже в конце 1944 г. И не где-нибудь, а на территории самой Чехословакии.

В ноябре 1944 г. со вступлением советской армии на территорию Чехословакии, в ее восточные части, Подкарпатскую Русь (Закарпатская Украина) СССР нарушает сразу два договора: от 12 декабря 1943 г. о дружбе и сотрудничестве, фиксировавший признание довоенных границ Чехословакии, и от 8 мая 1944 г., предусматривавший постепенную передачу освобожденной территории чехословацкой администрации. В момент, когда советские войска находились на территории Чехословакии, Венгрии, Польши, эти документы потеряли свою первоначальную функцию. Советское руководство уже решало иные международные проблемы, создавало условия для использования результатов победы, своего нового положения великой державы. При этом оно не забывало о таких «мелочах», как приращивание территории за счет стратегически важных областей, к которым относилось и Закарпатье. Присоединение его открывало выход на Дунайскую равнину.

Советское командование, несмотря на обращение генерала Л. Свободы, не позволило Чехословацкому корпусу, состоявшему в значительной части из закарпатцев, прошедших через ГУЛАГ (перебежчики в СССР в 1939—1940 гг.), участвовать в освобождении Закарпатья и перебросило его по большой дуге от Карпатского хребта у границ Чехословакии в южную Польшу, а затем на Дуклю, где он фактически был перемолот. Естественно, в Москве опасались этих людей, поскольку они могли объяснить землякам, что их ждет после «воссоединения».

В ноябре 1944 г. в Закарпатье начинается движение за воссоединение края с УССР, руководил им не кто иной, как Л. З. Мехлис. Думаю, что комментарии излишни. Объективности ради нужно сказать, что на начальном этапе в этом движении участвовала примерно треть политически активного населения, не более. В общем, события в Закарпатье развивались по сценарию, отработанному в Прибалтике в 1939—1940 гг. Закарпатье было сразу, уже в октябре, разделено на две зоны. Его развита, урбанизованная центральная и западная части совершенно неправоммерно объявлялись оперативной зоной советской армии, поскольку фронт проходил в 40 км от границ Закарпатья. В эту зону не допускались официальные чехословацкие представители. А юго-восточная, слабо-развита горная часть отдавалась под управление чехословацкой администрации во главе с министром Ф. Немцем. Но и здесь чехословацкая администрация подвергалась систематическому давлению, провокациям, вынудившим ее спустя два месяца покинуть территорию Закарпатья.

Советская военная администрация продолжала нарушать все договоренности и Конституцию Чехословакии, начав под видом добровольческого движения мобилизацию молодежи в советскую армию, интернирование венгров и немцев, которых посылали под видом пленных на восстановление шахт Донбасса. Большая часть из них оттуда не вернулась. То же самое проводилось в освобожденной Восточной Словакии, где были интернированы десятки тысяч словаков и русин-украинцев. Протесты чехословацкого правительства не принимались во внимание.

В этой атмосфере ускоренно проводится «съезд» представителей народных комитетов Закарпатья, принявший Манифест о воссоединении части территории союзника — Чехословакии — с УССР. Здесь все противоречило международному праву: нарушение суверенитета союзного государства, всех договоров с ним, организация сепаратистского движения, названного вовсе неудачно движением за «воссоединение». Закарпатье ведь никогда не было ни в составе Украины, ни в составе России и даже Киевской Руси. Но если даже отбросить все формально-правовые моменты, то возникает вопрос: зачем нужна была такая спешка, вернее, демонстрация силы против союзника? Ведь Сталину было известно, что Бенеш и чехословацкое правительство готовы были передать Закарпатье Советскому Союзу, ибо все видные чехословацкие политические деятели, в том

числе Масарик, считали, что Закарпатье включено в состав ЧСР временно. Аллергическая реакция Бенеша и его окружения на «воссоединение Закарпатья» вызвана была неуклюжестью этого шага советских властей, его несвоевременностью. Чехословацкий президент справедливо говорил, что государство, входящее в число победителей, не может в результате победы терять таким образом часть своей территории. В этом Бенеш, Масарик, да и Готвальд на первых порах, видели опасный прецедент. Ведь не был еще решен вопрос о границах Чехословакии с Польшей и Венгрией. И все-таки, почему Сталин спешил?

В чехословацкой историографии распространено мнение, что скорость, с которой принимался «манифест» о «воссоединении», была вызвана чрезмерной «инициативностью» киевских руководителей, оказывавших чуть ли не давление на Сталина. Это, конечно, миф чистой воды. В Киеве в то время первым секретарем ЦК КП(б)У был Н. С. Хрущев — опытнейший царедворец, которому и в голову не пришло бы «давить» на Сталина. На мой взгляд, беспардонность Кремля в вопросе Закарпатья осенью 1944 г. может быть объяснена даже не «кухаркиной» дипломатией, а просто имперIALным характером действий Сталина и его подручных. Заключительный акт этой проблемы решен был под давлением СССР также ускоренно, в нарушение конституционных норм Чехословакии и международного права. Подписанный в Москве 29 июня 1945 г. договор между СССР и Чехословакией о передаче Закарпатья СССР был ратифицирован временным, я подчеркиваю, временным Национальным собранием Чехословакии, которое не имело на это полномочий, 22 ноября 1945 г. «по политическим и практическим соображениям», как сказал Рипка.

В Москве спешили, на мой взгляд, потому, что в Закарпатье резко менялась атмосфера. Достаточно было нескольких месяцев действий «Смерша», НКВД и других служб, как вся эйфория освобождения улетучилась. Нарастали прочехословацкие настроения и необходима была немедленная демонстрация «воссоединения» с границей на замке.

Исключительная ориентация Чехословакии в период войны, во всяком случае с 1943 г., на СССР показала свою невыгоду сразу же после праздника Победы. ЧСР оказалась в изоляции и конфликтной ситуации со всеми своими соседями, даже с зонами оккупации Германии. И проблемы границ могла решать только с помощью СССР. Тем самым она опять себя загнала в угол.

Весьма показательна в этой связи эволюция политики Москвы по пограничным спорам в регионе. До середины 1947 г. советское правительство проводило в определенном смысле дифференцированную политику в отношении стран своей сферы влияния. Различало побежденных, победителей, славянские и неславянские страны, что неоднократно использовала Чехословакия. После отказа от «плана Маршалла» наступает унификация советской сферы влияния, превращение ее в монолитный блок. Дифференциация подчиненных исчезает, их взаимные трения и проблемы замораживаются, вплоть до наших дней, и опасно оттаивают именно сейчас. Концепция Бенеша, строившаяся на предположении о длительном сотрудничестве стран антигитлеровской коалиции и о Центральной Европе как конвергентном пространстве социализирующейся демократии, потерпела крах.

Мирный исход политического кризиса в Чехословакии в феврале 1948 г. не в последнюю очередь стал возможен и по той причине, что ни один чехословацкий политический деятель не верил в возможность быстрых демократических преобразований в германском обществе и в исчезновении германской угрозы, а Западу тем более не верил. В этот момент никто еще не осознавал того факта, что вследствие радикальных изменений в Европе и в Германии угроза суверенитету Чехословакии исходит уже не от западных ее границ, а от имперIALных устремлений СССР.

В заключение я хотел бы обратить внимание еще на один момент. О периоде истории Чехословакии 1945—1947 гг. говорится как о «народной демократии», «новой демократии» и т. д. Я позволю себе усомниться в демократичности того режима и высказать предположение, что характер

его в какой-то мере подготовил почву уже того, что произошло после февраля 1948 г. Чехословацкое общество, вышедшее из войны и оккупации, было больным в экономическом, политическом и психологическом смысле. Именно в этот период оно осуществляет такие жестокие акции, как выселение немцев по формуле «коллективной вины народа», которая противоречит всякому понятию демократии. Противоправными были многочисленные акции, направленные против венгерского меньшинства: бессмысленная и унизительная ресловакизация, депортация, трудовая повинность венгров. Все это являлось прямым отрицанием правовой системы буквально со дня освобождения, 9 мая 1945 г. На мой взгляд, подобное отрицание правовой системы фактически подготовило почву для процессов 40—50-х годов. И я не склонен считать этот период демократическим в любом смысле. Увы, демократического в нем было слишком мало.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. И. И. Поп помимо прочего затронул один очень существенный вопрос, касающийся исторической судьбы восточноевропейских стран и их взаимоотношений в СССР. Мы имеем два параллельных примера. Один — это политика чехословацкого эмигрантского правительства, конец ее обрисовал И. И. Поп. Второй — политика польского эмигрантского правительства, которая шла в противоположном направлении, становилась все более жесткой в отношении СССР. Но финал для Польши был тот же. В связи с этим встает вопрос: был ли вообще у освобожденных восточноевропейских стран — Польши, Чехословакии — иной, альтернативный исторический вариант, нежели тот, который реализовался? Можно ли рассматривать историческую судьбу этих стран вне детерминированности общими отношениями Восток — Запад, т. е. Советский Союз — западные союзники? Вообще могло ли положение той или иной из стран ЦЮВЕ, ее политических сил, противоположных коммунистическому лагерю, серьезно измениться или хотя бы очень существенно корректироваться на достаточно длительный период (а не лишь в промежутке 1945—1948 гг., как в Чехословакии) в зависимости от соотношения сил внутри страны, от более жесткой или, наоборот, более гибкой политики некоммунистических группировок, эмигрантских правительств? Или это был тот исторический период, когда все решалось взаимоотношениями великих держав, двух полюсов в антигитлеровской коалиции? Вопрос очень существенный, потому что от него зависит и ответ на другой вопрос: правильной или неправильной по отношению к Советскому Союзу была политика сил, противостоявших установлению советской доминации в этих странах? Полагаю, речь идет об очень важной проблеме, которая, очевидно, нуждается в тщательном обсуждении.

ПУШКАШ А. И., *д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)*

Я бы хотел возразить И. И. Попу по некоторым вопросам. На основе того, что я знаю и читал, у меня создалось впечатление, что основную роль в деле воссоединения Закарпатья с УССР играл Хрущев, как первый секретарь ЦК КП(б)У. Решение закарпатского съезда было адресовано Верховному Совету Украины, а потом уже Москве. И воссоединение осуществлялось не с Советским Союзом, а с Советской Украиной. В то время существовало самостоятельное закарпатское правительство, и у него были свои вооруженные силы. Что касается проблемы законности и незаконности, то о какой законности могла идти речь, когда Чехословакии не существовало, ее уничтожили немцы. После войны все создавалось заново.

ПАРСАДАНОВА В. С., *д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)*

Я приведу только одно заявление, с которым я познакомилась, когда занималась проблемой депортаций, — Ванды Василевской. По ее мнению, все, что делалось на Украине, исходило исключительно от Хрущева, на которого влияла украинская националистическая организация. Комментировать не берусь.

ПОП И. И. Что касается инициативности Хрущева и вообще Киева. Меня никто не убедит в том, что при сталинском режиме кто-то мог быть инициативным в Киеве, Минске или где угодно. Притом в таких вопросах, которые касались отношений с соседним государством и к тому же с союзником. Это была глубоко продуманная тактика и стратегия самого Сталина. И никакие киевские деятели, а тем более ужгородские марионетки, не могли определять отношения с ЧСР.

МАРБИНА В. В., д-р ист. наук, зав. сектором (ИСБ)

Я с большим вниманием прослушала то, что говорил И. И. Поп, тем более, что его позиция по ряду вопросов отличается от того, что было изложено в его книге. Наши взгляды развиваются и развитие идет очень быстро.

Мое выступление касается такого малоисследованного вопроса, как позиция Бенеша, его взгляды, касающиеся внешнеполитической ориентации Чехословакии. В связи с этим я коснусь некоторых вопросов предыстории подписания советско-чехословацкого договора 1943 г. Здесь еще очень много «белых», а может быть, даже и «черных» пятен. На мой взгляд, совершенно не исследованы политические взгляды Бенеша. Первую попытку предпринял в 60-е годы чешский историк Я. Кржен в своих известных монографиях. Затем эта работа была приостановлена на долгие годы. На всех наших оценках Э. Бенеша лежит отпечаток взглядов, выработанных еще в 50-е годы, когда он обвинялся в антисоветизме, проведении антинациональной политики, сотрудничестве с Францией, Англией и США, стремлении добиться соглашения с гитлеровцами. Теперь Э. Бенеш обвиняется в том, что занимал слишком просоветскую позицию, не видя, к чему это может привести. Мне это представляется другой крайностью. Думается, что истина лежит где-то посередине. И ее надо искать.

Бенеш был реалистом, прагматичным политиком, который исходил из национально-государственных интересов Чехословакии. Это мы всегда должны иметь в виду. Будучи самостоятельным политиком, он имел свою внешнеполитическую стратегию. И. И. Поп прав, когда говорит о «мюнхенском комплексе» Бенеша. Он не мог не сказаться на его концепциях. И вот здесь, мне кажется, надо искать истину. Мюнхен утвердил Бенеша в представлении о том, что Чехословакия не может иметь одностороннюю ориентацию либо только на Запад, либо только на Восток. Его стратегической линией, которую Бенеш развивал постоянно, была линия «и Запад и Восток». Он понимал значимость союза Чехословакии с Россией вне зависимости от того, какой режим существует в последней. Эта его мысль проходит красной нитью через все документы периода войны.

Я полагаю, что у нас достаточно традиционно толкуется проблема заключения договора 1943 г. Действительно, это был первый договор СССР с малой державой. Но почему имела место затяжка с подписанием этого договора? Разговоры о нем начаты были еще в 1942 г. В начале 1943 г. велась уже переговоры о сроках его подписания. А затем наступает длительная пауза. И. И. Поп, ссылаясь на Б. Лаштовичку, пишет, что Бенеш выжидал, как развернутся события летом 1943 г. Наверное, так оно и было. З. Фирлингер, посол ЧСР в Москве, говорил о том, что Бенеш являлся игрушкой в руках правительства Великобритании. Но, на мой взгляд, позиции Бенеша были достаточно самостоятельны. Ведь вопреки желанию Англии он пошел на подписание договора. Это, во-первых. И во-вторых, несмотря на давление Англии, Бенеш прерывает переговоры о создании польско-чехословацкой конфедерации, учитывая отношение эмигрантского польского правительства к СССР. В то же время Бенеш отказался в июле 1943 г. подписать договор, как того требовало советское правительство. Он считал, мне кажется, что Великобритания и СССР стремятся оказать на него давление для того, чтобы сделать его игрушкой в своих расчетах. Он этого не хотел, естественно, но также не желал осложнений между Англией и СССР. И поэтому всячески противился подписанию договора летом 1943 г. Вот позиция Бенеша как самостоятельного политика, как политика достаточно крупного масштаба.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. На мой взгляд, страны ЦЮВЕ в ту конкретную эпоху были исторически обречены. Не обречены ли они в нынешнюю, новую эпоху, это вопрос другой. Мы это еще увидим, ведь мы пока знаем только начало процесса. А вот что касается той эпохи, то она уже прошла, и мы теперь можем об этом судить. Они исторически были обречены. Сравнительная концепция, которые имелись у целого ряда эмигрантских деятелей, и по крайней мере у четырех эмигрантских правительств — польского, чехословацкого, югославского, греческого, — которыми мне пришлось заниматься, у меня создалось впечатление, что на самом деле ни прагматиками, ни реалистами никто из них не был вообще. Их «прагматизм» и «реализм», как мне кажется, были всего лишь попыткой плыть по течению, принаравливаясь к той ситуации, которая складывалась в каждый конкретный момент. Это относится не только к Бенешу. Многие эмигрантские деятели понимали, что все решается между Востоком и Западом. А поскольку они как раз в это пространство и попадали, значит им надо было соотноситься с этим. Но ни один из них не мог себе представить, может ли он реально при этом «сыграть» какую-то «самостоятельную партию». Они-то воображали, что именно такую «партию» и играют, но на деле являлись картами, которые выкидывались на зеленый стол великими державами и разыгрывались как угодно. За столом сидели настоящие игроки, т. е. СССР, с одной стороны, и западные союзники — с другой. Эти игроки либо выигрывали, либо проигрывали. Как известно, один игрок выиграл на том раннем этапе, а другой проиграл. Однако на сегодняшний день все оказалось наоборот. История ведь очень злая дама... И если мерить такими мерками, то получается, что ни один из этих деятелей реальной картины не знал. А если и знал, то, значит, заведомо занимался обреченным делом. Понимал ли это Бенеш, мне трудно сказать. А вот что касается «реальной» политики, она была совершенно нереальна. К примеру, Сикорский, а затем Миколайчик проводили одну политику, Бенеш другую. А результат? Это были слепые котята, которых бросали в мешок и они там барахтались. Каждый в этом мешке пытался действовать по-своему, а мешок все равно был один. И держал его один манипулятор.

ГРИШИНА Р. П., д-р ист. наук, зав. сектором (ИСБ)

А западная сторона хорошо представляла, что будет с этими отдаваемыми по разделу странами?

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Вопрос этот гораздо сложнее. Когда мы говорим о «западной стороне», то ведь традиционно идем от накатанного, вбитого в нас представления о некоем централизованном бюрократизированном «империализме», во главе которого сидит такой же «Дядя Джо», просто с другим именем, всем приказывающий, и все идет по плану. На деле же было по-другому. На «западной стороне» были, к примеру, политики, которые, как это ни парадоксально, мыслили, намного опережая свою эпоху, а в своей эпохе нередко многого, очень многого не понимали. Таков, на мой взгляд, пример Рузвельта, если говорить о его международной политике. И она, эта политика, на завершающем этапе второй мировой войны, практически проиграла. Но был и Черчилль, который, с точки зрения тогдашней эпохи, в частности роли СССР, понимал почти все, но историческую перспективу представить себе мог гораздо меньше. В плане сопротивления созданию советского блока, выходу того, что нынче называется то ли социализмом, то ли сталинизмом, за рамки одной страны, Черчилль был куда реалистичнее Рузвельта, но сделать мог мало что, не было сил. Так что «западная сторона» была довольно разная, и политика, конкретные устремления и возможности являлись достаточно разнообразными, неоднородными. Есть еще один фактор, который мы никогда не исследовали. Каждый политик рожден в своей среде и выйти за ее рамки не может. Вступая в контакт с другим миром, он пытается накладывать на него привычные ему принципы и стереотипы. Поэтому советское руководство никогда западный мир понять не могло. Тем не менее оно верно с ним играло, будучи гораздо более жестоким, циничным,

расчетливым и как бы прагматичным. Правда, как мы теперь видим, если мерить исторической перспективой, то игра эта оказалась в итоге проигранной полностью и целиком, потому что сам путь был обречен. Но это — в конечном итоге, через десятилетия. А в конкретных условиях того периода, который мы здесь рассматриваем, оно оказалось игроком более сильным. Западный мир, и даже Черчилль, никогда не мог себе представить, что человек, с которым он сидит за столом переговоров и с которым договаривается, выйдя за дверь, тут же покажет ему кукиш. Так произошло в октябре 1944 г. на московских переговорах Черчилля и Идена со Сталиным и Молотовым, когда первым казалось, что они достигли договоренности о процентных соотношениях в сферах влияния. А опыт показал, что это была фикция. В представлении Черчилля, если джентльмен, пусть даже разбойник, договаривается с джентльменом, то они друг с другом должны вести себя как джентльмены. Но он не предполагал, что договаривается с людьми, у которых психология совсем другая, на уровне примитивной «малины», где никакого джентльменства нет и в помине.

| *МАРЬИНА В. В.* Я совершенно согласна с тем, что сказал Л. Я. Гибианский. Были политики типа Рузвельта, которые не вписывались в свою эпоху, они видели дальше. Мне кажется, что Бенеш был политиком рузвельтского типа, как по своим взглядам на преобразование буржуазной демократии, так и в вопросах внешней политики. Бенеш потерпел поражение именно потому, что время для осуществления его концепции еще не наступило. Оно пришло сейчас. Потому его идеи современны, так что Бенеш оказался хорошим прогностом. А тогда его концепции потерпели крах, ибо пришлось не ко двору тому времени. Но если внимательно посмотреть на то, что говорил и писал Бенеш, то мы увидим, что в его концепции вырисовывается постиндустриальное общество, а вовсе не то, что реализовывалось в странах региона в 40-х годах.

МИЛЯКОВА Л. Б. канд. ист. наук, научн. сстр. (ИСБ)

Меня давно занимает вопрос о сущности соглашения, подписанного в Потсдаме. Действительно ли Запад надеялся на то, что Советский Союз позволит странам ЦЮВЕ развиваться по финскому варианту? Или все-таки западные политики понимали, что они продали Восточную Европу СССР?

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Я много занимался восточноевропейской проблемой в Ялте и Потсдаме. Существует гигантский миф об этих конференциях, который усиленно раздувался с обеих сторон — как на Западе, так и на Востоке. Решения, которые были приняты в Ялте и Потсдаме, как всякие акты, определенное значение, конечно, имели, но их не следует переоценивать. На самом деле ни в Ялте, ни в Потсдаме ничто и никак не было определено с точки зрения судеб Восточной Европы — судьбы эти были определены до Ялты. Ялта фиксировала уже возникшую реальность. Если бы это не было зафиксировано, положение стран ЦЮВЕ все равно осталось бы тем же. С этой точки зрения, на Крымской и Потсдамской конференциях западные партнеры ничего не «отдали». Все и без них было уже «взято». Однако без Ялты и Потсдама система союзнических отношений, начавшая дышать на ладан, но все-таки еще некоторое время существовавшая, просто могла рухнуть раньше. Это не значит, что на обеих конференциях не было определенного торга по поводу тех или иных стран ЦЮВЕ. Но давайте посмотрим, какие же практические результаты были достигнуты и какое они могли иметь реальное значение?

Возьмем Крымскую конференцию. Конкретные договоренности по поводу Восточной Европы там были достигнуты только по двум вопросам — польскому и югославскому. В обеих странах уже были установлены новые режимы, власть перешла в руки компартий — в югославском случае вследствие массового движения внутри Югославии, соединенного с советской поддержкой, в польском случае — путем непосредственного

воздействия советской военной силы. В обоих случаях Запад добивался образования коалиционных правительств, чтобы доступ к власти получили некоторые оппозиционные коммунистам силы, представители эмигрантских правительств. СССР, разумеется, пошел лишь на такие соглашения, которые создавали, скорее, видимость доступа этих сил к власти, оставшейся на деле в руках компартий. Если западные союзники всерьез рассчитывали на большее, — а известные расчеты у них были — это едва ли могло осуществиться дипломатическим путем в рамках антигитлеровской коалиции. Есть, как известно, разные точки зрения на то, что были ли у них возможности прибегнуть к более решительным, выходящим за дипломатические рамки методам и средствам для достижения своих целей, но это уже другой вопрос. Так или иначе, ялтинскими договоренностями по Польше и Югославии они лишь пытались как-то ослабить то, что уже стало реальностью, — установление в обеих странах власти коммунистов, покровительствуемой или непосредственно удерживаемой Советским Союзом. В этом смысле решения Крымской конференции ничего кардинально не изменили.

Что же касается общих договоренностей, относившихся к Восточной Европе, то здесь обычно идет речь о принятой в Ялте Декларации об освобожденной Европе. У нас в литературе некоторые авторы, видимо, не заглядывавшие в подготовительные документы к Ялте, прежде всего американские, всерьез считают декларацию чем-то важным. И даже говорят о том, какую она роль сыграла. Но она вообще не сыграла никакой роли. Это случайный документ. Его проект возник в связи с планом государственного департамента США создать Чрезвычайную верховную комиссию для освобожденной Европы. С помощью такой комиссии руководители американской дипломатии во главе с госсекретарем Э. Стеттиниусом рассчитывали усилить возможности влияния на европейское развитие, прежде всего на положение в Восточной Европе. Но Рузвельт этот план отверг в последний момент перед началом Крымской конференции. Однако чтобы как-то подсластить пилюлю, тем более, что Стеттиниуса частично поддерживал входивший в состав американской делегации влиятельный Дж. Бирнс, который колебался между позициями президента и госсекретаря, Рузвельт поступил по всем правилам бюрократической комбинации. Он согласился на первую, общедекларативную часть подготовленного госдепартаментом документа (а это и была Декларация об освобожденной Европе), но одновременно выкинул главное, во имя чего весь документ и создавался, — предложение об образовании Чрезвычайной верховной комиссии для освобожденной Европы и о механизме ее деятельности. По настоянию Рузвельта, только Декларация, лишавшаяся в этих условиях практического смысла, и была вынесена делегацией США на заседание конференции. Сталин сразу понял, что это абсолютная ерунда, но постарался обратить принятие декларации в свою пользу, поддержав Рузвельта. В Декларацию вписали, главным образом по предложению советской стороны, еще некоторые пассажи, которые превратили ее в полную пустышку. Там не был предусмотрен никакой механизм ее осуществления, что вскоре проявилось в связи с событиями в Бухаресте в конце февраля 1945 г., когда путем действий румынских коммунистов и советского давления правительство генерала Радеску было заменено «народно-демократическим» правительством Петру Гроза. Рузвельт обратился к Сталину по поводу этих событий. К чему это привело? Ни к чему. Советский Союз никак на это не реагировал.

Теперь — о Потсдамской конференции. Там и вовсе по поводу Восточной Европы ни о чем на самом деле не договорились, кроме практически двух вопросов. Первый — о западной границе Польши. Что же касается принципов образования польского правительства национального единства, то ведь договоренность была окончательно достигнута после Ялты, но до Потсдама. Ту договоренность можно опять-таки оценивать как угодно, но к Потсдамской конференции она отношения не имеет. Внутриполитического положения в Восточной Европе касался лишь второй вопрос — как выйти из дипломатического тупика, чтобы, с одной стороны, открыть

путь дипломатическому признанию бывших европейских союзников Германии, т. е. Италии и восточноевропейских государств-сателлитов, а с другой, что еще важнее, — начать работу Совета министров иностранных дел, подготовить мирные договоры с этими государствами. Но это было необходимо всем членам антигитлеровской коалиции, иначе они должны были расписаться в том, что больше союзнических отношений между ними не существует. Никто этого не хотел. К тому же, если СССР желал открыть путь мирным договорам с Болгарией, Венгрией и Румынией, то западные союзники — с Финляндией, а особенно и прежде всего — Италией, относительно которой наибольшую заинтересованность проявили в Потсдаме США. Так что все здесь были повязаны. И никаких продуманных концепций у Запада в Потсдаме не было. Да и какие могли быть концепции? Все плыло по течению. А судьбу Восточной Европы известно, кто определял. Это делал исключительно СССР, его войска стояли в Восточной Европе, И западным союзникам приходилось к этому принаравливаться.

Конечно, были тогда еще и некоторые иллюзии, например, у Трумэна, что с помощью политико-дипломатического давления на переговорах с СССР Западу удастся выторговать у советских партнеров что-то существенное в отношении стран ЦЮВЕ, серьезно расширить возможности оппозиции коммунистическому по сути режиму. Это касалось, в частности, Болгарии и Румынии. Такие попытки Трумэном делались. И в Потсдаме, и после него: напомним о Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 г. Тщетность таких попыток была очень скоро осознана. Но все, что мог сделать в итоге Запад для Восточной Европы — это шумно махать руками. А в Западной Европе, где советских войск не было, все было наоборот. Махала руками другая сторона.

НОВОПАШИН Ю. С., д-р филос. наук, зам. директора ИСБ

Я хочу высказаться по более общим проблемам. Л. Я. Гибианский сказал, что все было предрешено и система была обречена с самого начала. Надо подумать, так ли это на самом деле. И. И. Поп высказал сомнение в демократичности «народной демократии». Это тоже позиция, которая вносит определенные коррективы в концепцию, сформировавшуюся уже в годы перестройки. Некоторые историки считают, что в развитии системы все-таки были два периода. Первый период — народно-демократический. Поэтому специально выделяют учреждение Коминформа, 1947, 1948, 1949 гг. Эта концепция рухнет, если встать на позицию И. И. Попа. Наверное, с ней можно согласиться, но есть второй момент, а именно коалиционность этих режимов. Была ли она игрушкой, на чем настаивают Л. Я. Гибианский и И. И. Поп, или все-таки коалиционность в чем-то мешала Сталину? Поэтому я ставлю такой вопрос: имела ли коалиционная политическая система 1944—1948 гг. свой исторический шанс? При сохранении, конечно, многоукладной экономики. Если бы сохранилась коалиционная политическая система и многоукладная экономика, то, может быть, и не было бы краха 1989 г.? Я скорее склонен поддержать Л. Я. Гибианского в том смысле, что все было обречено и историей предопределено с самого начала. И кое-какие аргументы в этом плане могу высказать, хотя внутренне до конца сам не уверен в этом. За 45 лет выросли целые поколения, шла жизнь в этих странах, росли дети, строились заводы, пахались поля. И что же, все, как говорится, «коту под хвост», и 1989 год это подтвердил? 45 лет развития в никуда? Полный тупик? Вот с этим внутренне очень трудно согласиться.

Мне кажется, что нужно учитывать какие-то общие факторы. Конечно, в 1945—1947 гг. Советский Союз действовал в регионе скорее на правах победителя. Точно так же, как на Западе на правах победителя действовали США и Великобритания. Но каков был характер действия? Здесь уже И. И. Поп упоминал о деятельности СМЕРШ НКВД. Наши бывшие западные союзники несли с собой или пытались внедрить в поверженной Европе демократическую международно-правовую систему. СССР пришел в ЦЮВЕ, имея только опыт построения тоталитарной системы, полицей-

ского государства. Так была построена система с октября 1917 г., с учреждения ВЧК, и так она сохранялась и до сих пор сохраняется в нашей стране. Так что это был абсолютно другой опыт. И потому эта часть Европы была обречена. Но обречена была и создававшаяся тоталитарная система. Видимо, человеческая природа, которую изучали еще философы позднего Средневековья Френсис Бэкон и другие, несовместима с тоталитарным режимом, с его давлением на человека: рано или поздно терпению приходит конец, мирным путем или путем восстания, как в Румынии.

Я уверен, что в СССР все это мирно кончиться уже не может. Нас ждет большая кровь, потому что большевистский режим, который еще у власти, не способен уступить ни на йоту. Наша власть остается большевистской, несущей все черты полицейского государства. Весь этот камуфляж с Верховным Советом, выборами 1989 г. всего лишь прикрытие его сути. Не надо на этот счет заблуждаться.

Теперь давайте коснемся такой проблемы, как экономическая модель. Мы пришли как освободители, помогали экономически. Но какую экономическую модель мы несли? Мы навязывали отсталую, абсолютно не имевшую перспектив экономическую систему, которая и рухнула. Даже в этом плане мы не можем устоять на позициях освободителей и помощников в экономическом отношении странам региона.

Давайте посмотрим, что происходило с самого начала? Вот входят наши войска, и вместе с ними везде появляется громадное количество оперативников Л. П. Берия. Вот суть нашей полицейской системы. К этому подсоединялась система советников, насаждавших абсолютно во все учреждения. Как вы думаете, национальное самолюбие народов стран региона этим не ущемлялось? В этом плане И. И. Попа трудно опровергнуть.

Вскоре мы будем обсуждать коллективный труд «Народная демократия: мифы и реальность». Не знаю, что его авторы будут доказывать, но все больше аргументов против «народной демократии», за то, что это миф. Ибо с нашими войсками пришла полицейская агентура. И что она делала в Чехословакии? Хватала русских и украинских эмигрантов и их архивы. Всех стариков выловили, одних расстреляли, других в лагерях замордовали. И делали это не без помощи чехословацкой полиции, которая в то время была уже в руках коммунистов.

Закончить я хочу репликой в адрес В. К. Волкова. Он сказал, что, издавая в 1985 г. книгу «СССР и страны народной демократии», мы обогнали время. Не стоит на этот счет обольщаться. Где в этой книге вы найдете рассуждения о том, каковы перспективы у «мира социализма»? Нет этого. Нигде и никто тогда не ставил вопрос о том, что эта система обречена и рухнет.

ПАРСАДАНОВА В. С. Для дальнейшей нашей работы в сфере новейшей истории нужны источники, без них невозможно восстановить картину событий, максимально близкую к действительности. Мы оказываемся совершенно неконкурентоспособными, ибо после 1989 г. в странах региона открыты почти все архивы. У нас же все наоборот. Становятся недоступными даже те материалы, которыми мы раньше пользовались.

Несколько замечаний по существу дискуссии. Я принадлежу к тем, кто считает, что в период «народной демократии» альтернатива в развитии была. Причем не только для стран региона, но и для СССР. Накануне войны вступил в полосу кризиса как капитализм, так и социализм, или сталинизм. Во время войны народные массы выправили положение, встала огромная армия с оружием в руках. И пока под ружьем стояли миллионы солдат, победивших фашизм, сталинский режим никаких решительных мер не предпринимал. Ю. С. Новопашин говорил, что человеку генетически не свойственно терпеть тоталитаризм. Я думаю, что такие настроения имелись и в СССР. Поэтому новая волна репрессий была направлена на ликвидацию носителей этих настроений. Спасать нужно было и капитализм. Там нашли другой путь — его реформировали. Нерешенность многих политических вопросов в странах региона, зависимость их от харак-

тера взаимоотношений великих держав-победителей оставляли простор для альтернативы. Да и взгляды самих руководителей коммунистических партий были несколько различны. Есть данные, что существовали различные тенденции и в СССР.

ГРИГОРЬЯНЦ Т. Ю., канд. ист. наук, научн. сотр. (ИСБ)

Как показывает ход исторических событий, Сталин и после окончания второй мировой войны не отказался от идеи территориального расширения коммунистического режима. Это происходило не только в форме конкретного военного продвижения советских войск на Запад и занятия ими территорий стран ЦЮВЕ, но и в форме идеологического наступления, т. е. распространения на эти страны коммунистической идеологии с целью обоснования как «исторически неизбежного» расширения советской системы. Начиная с 1945 г. в странах ЦЮВЕ начался процесс, который называют в области внутривосточного развития «советизацией», а в области внешнеполитической — процессом превращения этих государств в страны-сателлиты Советского Союза. Предопределены были не только развитие во времени, но и ход событий, их очередность, последовательность в построении заданной модели.

Вмешательство сталинского руководства во внутренние дела стран ЦЮВЕ происходило по одной схеме, которая выглядела примерно следующим образом. В межвоенный период в СССР шла интенсивная подготовка коммунистических кадров в системе Коминтерна для работы в странах ЦЮВЕ. В период войны они внедрились в движение Сопротивления в этих странах или создавали параллельное национальному движению. С продвижением на Запад Красной Армии в ее обозе шли заранее сформированные органы власти: правительство, местная администрация и т. д. Затем после консультаций со сталинским руководством следовало образование формально коалиционных правительств из представителей буржуазных партий и коммунистов. Советское влияние проводилось по двум каналам. С этими правительствами устанавливались межгосударственные отношения. Одновременно сталинское руководство создавало дополнительную сеть «общественных организаций» левого направления. Следующим шагом были предопределенный заранее раскол существовавших буржуазных партий путем создания конкурирующих псевдопартий и преследование их бывших лидеров как «врагов народа». Исключалась какая-либо подлинная оппозиция, но создавались псевдокоалиции коммунистических партий с послушными «отколдовшимися» псевдопартиями или группами. Затем осуществлялись выборы на основе «единого списка». В Польше такие выборы, как известно, состоялись 19 января 1947 г., в Чехословакии 26 мая 1946 г. и т. д. За этим следовало создание коммунистических правительств национального единства путем исключения и преследования всякой оппозиции. Для данной, завершающей стадии характерной чертой являлось объединение социал-демократических партий с коммунистической в единую «рабочую» или «трудовую» партию. Из партий и руководства убирались «национальные коммунисты» (из числа тех, кто находился в стране, а не прибыл из СССР) как не прошедшие «школу» Коминтерна (у них почему-то обязательно предполагалось «инакомыслие», хотя, как показал опыт, для этого не было оснований).

Таким образом, в странах ЦЮВЕ шел жестко направляемый сталинским руководством и осуществляемый компартией конкретной страны процесс, который отдавал ей шаг за шагом всю власть. Эту тактику М. Ракоши цинично назвал «тактикой салями», когда у противника, образно выражаясь, от колбасы, которую он держит в руках, отрезается один кусок за другим, пока в его руке, наконец, не останется ничего.

Во внешней политике Сталин продолжал коминтерновскую традицию, расширив понятие «социализм в одной отдельно взятой стране» до понятия «лагерь социализма». Видимо, в этом он видел свой вклад в «дело мировой революции». И в условиях борьбы с германским фашизмом, и в послевоенные годы понимание Сталиным государственных интересов Советского Союза находилось под влиянием коминтерновской идеологии.

С самого начала отношения строились не на базе широкого общеевропейского сотрудничества, а путем создания блока послушных подручных и конфронтации с Западом. Попытки восточноевропейских стран наладить политику баланса в зародыше пресекались сталинским руководством. «С Советским Союзом на вечные времена», — вот главный лозунг внешнего кольца сталинской империи! Классическим примером «выкручивания рук» стал запрет Сталина и его окружения на присоединение к «плану Маршалла» стран ЦЮВЕ. Как подчеркивает большинство западных исследователей, «план Маршалла», помимо важного экономического аспекта (восстановление разрушенной войной европейской экономики), имел и политический аспект. Он открыл перспективы экономического сближения европейских государств, наметив путь к интеграции Европы. Этого-то и не хотел Сталин. Используя остаточный страх перед германской угрозой, он шаг за шагом создавал систему двусторонних военно-политических союзов путем заключения серии двусторонних договоров в конце 40-х годов. Хотя формально военно-политический союз в Восточной Европе строился как оборонная система против Германии, было совершенно очевидно, что эта система договоров обращена против Запада. Вместе с тем советское руководство всячески поддерживало интересы новых правительств восточноевропейских стран на международной арене. По мысли Сталина, это способствовало укреплению и расширению общих позиций социализма в мире, общему ослаблению противостоявшей ему капиталистической системы. А разгоравшаяся «холодная война» в Европе, в значительной степени являвшаяся реакцией на развитие событий в восточноевропейском регионе, на утверждение в странах этого региона послушных «народно-демократических режимов», была на руку сталинскому руководству. Сталин немало сделал для того, чтобы она началась. Гражданская война в Греции, чехословацкие события февраля 1948 г., берлинский кризис и особенно агрессия Ким Ир Сена против Южной Кореи, осуществленная с благословения Сталина, были главными толчками к ее разрастанию во всем мире, в том числе и в Европе. Обстановка напряженности и конфронтации в Европе создавала благоприятные условия для ускорения «советизации» в странах региона.

Что касается германского вопроса, то мне кажется, быстрое восстановление Германии пугало сталинское руководство. Сталин, во-первых, хотел затормозить этот процесс, запугивая весь мир германской угрозой. А во-вторых, он боялся включения Западной Германии в систему западных союзов. Может быть поэтому так горячо сталинское руководство выступало за сохранение германского единства?

ПАВЛОВСКИЙ И. В., канд. ист. наук, научн. сотр. (ИСБ)

Я хотел бы остановиться на проблеме соотношения внешних и внутренних факторов в процессе строительства антифашистско-демократического строя в Восточной Германии в 1945—1949 гг. В историографии существуют два подхода к данному вопросу. Первый характеризуется тем, что в качестве внешнего фактора развития рассматривается СССР в лице СВАГ, а в качестве внутреннего — все политические силы Восточной Германии. Такая схема позволяет определить различие между СВАГ и КПГ/СЕПГ, главной ее опоры. Еще летом 1945 г. члены КПГ и СДПГ выступали за скорейшее объединение обеих партий. СВАГ выступала против, видимо, руководствуясь народнофронтальной моделью, выработанной Коминтерном в 30-е годы. В случае объединения КПГ и СДПГ схема эта рушилась: КПГ теряла буферную силу в лице СДПГ и вступала в прямую конфронтацию с ХДС и ЛДПГ. Парламентский путь развития общества Восточной Германии заканчивался преждевременно. В результате снимались маски политической игры: плюрализм был не самоцелью, а средством для достижения цели.

Однако после сокрушительного поражения коммунистов на выборах в Австрии, СВАГ вынуждена была идти именно в этом направлении. Разногласия существовали еще и по поводу сдерживания представителями СВАГ леворадикальных настроений представителей СЕПГ. Но в конце

концов этим настроениям был дан «зеленый свет», ибо стала ясна общая бесперспективность добровольного перехода к социализму и советской модели. СВАГ опирается на леворадикальную часть СЕПГ, а в результате была создана не народно-фронтальная модель, а лишь видоизмененная советская.

Второй подход к проблеме заключается в том, что внутренним фактором считаются лишь члены ХДС и ЛДПГ. Такой подход, несомненно, упрощает суть дела (так, даже представители рабочих из СЕПГ не всегда были лояльно настроены по отношению к СВАГ). Однако при таком подходе четче видны главные оппозиционные силы — ХДС и ЛДПГ. Главный результат их деятельности заключается в том, что уже на раннем этапе были развеяны многие иллюзии «социалистического строительства». Основная часть их руководителей была вынуждена оставить партийные посты и удалиться в западные зоны. Политическая база нового режима сузилась до предела, так как стало ясно, что СССР проводит политику политического давления, прикрываясь социальной фразеологией. Тем не менее режим, возникший к 1949 г. в Восточной Германии, не был ей органически чужд. Иначе при столь узкой социальной базе и одной только внешней поддержке со стороны СССР этот режим вряд ли просуществовал бы 40 лет (при одном выступлении против него в 1953 г.). Идеи коммунизма (социализма) в 1945 г. еще были популярны.

В историческом контексте СВАГ в Восточной Германии одержала своего рода «пиррову победу», а действительными победителями (в историческом масштабе) были те, кто в той или иной степени сопротивлялся ее давлению. Причем, что самое главное, они победили не столько СВАГ или СССР, сколько коммунистическое (социалистическое) мировосприятие в самих себе. Это крайне важно иметь в виду, так как именно эта фразеология, возникшая гораздо раньше 1945 г., именно это мировоззрение, а не компартия были сильнейшими союзниками СВАГ в деле строительства нового строя. Учитывая все эти соображения, невозможно определять роль СССР в Восточной Германии как активное навязывание своего пути развития, а роль внутренних сил — как пассивное воспроизведение воли СССР.

ПИМОНЕНКО И. С., канд. ист. наук, научн. сотр. (ИСБ)

Характер «модели» общественного устройства Югославии, как она сформировалась к началу конфликта с Коминформбюро, явился адекватной реализацией ориентации югославского руководства того времени, а именно: следования и в теории и в практике образцу, осуществленному в СССР. Свидетельства тому — решительные шаги югославской компартии по пути внедрения «большевистского опыта»: упразднение многопартийной системы и установление диктатуры партаппарата; кардинальное обобществление основных средств производства (с конфискациями, национализациями, изъятиями); сверхцентрализация государственного управления, превосходившая, по некоторым оценкам, СССР; форсированная «сталинская» индустриализация и т. д. Возникший конфликт с Коминформбюро (а точнее — его затяжной характер) не мог не привести к интенсивной идейно-теоретической и пропагандистской работе югославских теоретиков, направленной на поиски идеологического обоснования причин, приведших к его возникновению, к теоретическим поискам какой-то своей общественной модели. При этом следует учесть, что влияние разрыва с Коминформбюро не было однозначно прямолинейным, побуждавшим исключительно к реформированию внедренной в Югославии системы, как это ни парадоксально, но разрыв сыграл и сдерживающую роль в отходе от сталинской модели, провоцировал руководителей КПЮ к «оправдательным шагам». По всей видимости, это было связано главным образом с большевистским характером самой КПЮ. В результате югославские лидеры вплоть до начала 50-х годов не могли или не решались демонстрировать «нелояльность» к существовавшей коммунистической доктрине. Вместе с тем в условиях конфронтации в КПЮ шел процесс выработки своего видения государственного устройства, экономической системы, роли пар-

тии и т. д., что другой стороной именовалось не иначе как «отступничество» и «югославский ревизионизм». Новые идеи, однако, создавали и внедрялись фрагментарно.

В результате в Югославии соседствовали такие явления, как рабочее самоуправление, радикальный критический анализ функционирования системы «государственного социализма» (1950) и актуализация аграрного опыта ВКП(б), реформа внутривластных отношений, отказ (на словах) от диктующей роли КПЮ и одновременно ужесточение контрольной роли госаппарата, находящегося в руках той же компартии, над правоохранительными органами. И затем столь же стремительное проведение деколлективизации и роспуск колхозов (трудовых задруг). При этом нельзя сбрасывать со счетов определенную обусловленность данного шага задачей получить любой ценой необходимое для выживания режима продовольствие в условиях осуществлявшейся экономической блокады Югославии со стороны стран—членов Коминформбюро. Одновременно на VI съезде (1952) провозглашается намерение СКЮ осуществить радикальную реформу, призванную «отделить» партию «от власти». Эта реформа, однако, не была реализована из-за отчаянного сопротивления партийно-государственной верхушки. Невозможность осуществления реформы сразу же распознал М. Джилас, один из секретарей КПЮ. «Новый класс», по его мнению, не мог допустить ликвидации своей монополевой власти. Эти примеры иллюстрируют не прямолинейный характер процессов в югославском руководстве в период конфликта с Коминформбюро: с одной стороны, попытки отхода от «догматических» представлений о социализме, а с другой — наличие сильной консервативной просталинской тенденции и ориентации руководящего ядра КПЮ.

Можно, следовательно, говорить о сохранении югославской компартией «идеологической чистоты» по ряду фундаментальных вопросов в духе следования курсу ВКП(б) в течение продолжительного периода даже после разрыва. В то же время не стоит отрицать и факта начала собственных идейно-теоретических поисков, не совпадавших с линией сталинского руководства и его сателлитов в лице правящих режимов «народной демократии».

Все это, на мой взгляд, ставит под сомнение обоснованность утверждений, согласно которым ориентация на замену сложившейся тогда в Югославии системы проявлялась еще до конфликта 1948 г. При этом чаще всего имеются в виду теоретические разработки Б. Кидрича, одного из руководителей КПЮ, а также Э. Кардвеля. Более детальный анализ их выступлений и трудов «доконфликтного» периода позволяет, однако, заключить, что проводившиеся ими поиски в направлении реформирования югославской «модели» первых послевоенных лет не выходили за рамки стремления к совершенствованию указанной системы и не были ориентированы на ее демонтаж.

КАРПОВ А. В. — аспирант ИСБ

Классическим образцом создания власти при непосредственном участии СССР было возникновение Польского комитета национального освобождения (ПКНО). Быстрое развитие наступления советских войск летом 1944 г. поставило вопрос о том, кто придет к власти в Польше. Внутри страны единственной реальной силой были структуры, подчинявшиеся лондонскому эмигрантскому правительству. Неизмеримо слабее была Крайова Рада Народова (КРН) — национальный совет, в котором доминировала польская рабочая партия (ППР). Однако этот орган наделил себя правами представлять интересы польского народа. Перед СССР встал вопрос о том, как обеспечить полный контроль в Польше и в то же время сохранить приличия перед союзниками. Москва контролировала созданную ею польскую рабочую партию, которая действовала на территории страны. Кроме нее, на территории СССР существовали Союз польских патриотов и менее известное Центральное Бюро коммунистов Польши. Весной — летом 1944 г. вопрос общепольского органа оставался открытым. Члены ППР считали, что таковой должен быть создан на ос-

нове структур, существующих в стране. В канун вступления советских войск на территорию Польши в Москву для переговоров прибыла делегация Крайовой Рады Народовой. Состоялись две встречи со Сталиным, на которых он согласился с тем, что орган, который будет представлять интересы Польши, должен быть создан в самой стране. Таким образом, Сталин отказал в поддержке польской эмиграции в СССР. На наш взгляд этим он соблюдал внешние приличия перед союзниками.

Одновременно советские представители вели переговоры в Лондоне с Миколайчиком. Но с каких позиций? Они ставили условия правительству, признаваемому западными союзниками, об изменении его состава, называли конкретных лиц, которых хотели там видеть. Камнем преткновения оказался, как и следовало ожидать, вопрос о восточных границах Польши. Зондаж оказался безрезультатным, что было на руку советской стороне. Теперь уже она говорила не о реорганизации эмигрантского, а о создании нового правительства, которое установит дружественные отношения с СССР, что и было впоследствии реализовано. Такой резкий поворот вызвал сомнения представителей КРН Эдварда Осубки-Моравского и Анджея Витоса — члена руководства Союза польских патриотов в СССР. Они считали, что существование двух польских правительств вызовет большие осложнения в антигитлеровской коалиции. Поэтому вначале появился промежуточный орган — Делегатура КРН для освобожденных районов. Но просуществовал он всего три дня. 20 июля 1944 г. после настоятельной рекомендации Молотова он был преобразован в Польский комитет национального освобождения. Его организационное собрание состоялось 22 июля в Москве, хотя в это время в Хелме уже был опубликован манифест о создании ПКНО. Почему в Хелме? Потому что его нужно было легализовать в первом более или менее крупном освобожденном городе, который находился западнее линии Керзона, чтобы как-то зафиксировать в противовес лондонскому правительству тот факт, что линия Керзона будет восточной границей Польши.

Конечно, оставался вопрос, как отнесутся к этому союзники. Сталин направил Черчиллю 23 июля письмо, которое представляет собой классический пример лицемерия. В нем говорилось: «События на нашем фронте идут весьма быстрым темпом. В этой обстановке перед нами встал практический вопрос об администрации на польской территории. Мы не хотим и не будем создавать своей администрации на территории Польши, ибо мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Польши. Это должны сделать сами поляки. Мы сочли поэтому нужным установить контакт с Польским комитетом национального освобождения. Польский комитет намерен взяться за создание администрации на польской территории. И это будет, я надеюсь, осуществлено. В Польше мы не нашли каких-либо других сил, которые могли бы создать польскую администрацию. Так называемые подпольные организации, руководимые польским правительством в Лондоне, оказались эфемерными». Сталин не мог не знать о существовании структуры Делегатуры лондонского правительства и его вооруженных сил Армии Крайовой. Ведь еще в марте — апреле 1944 г. советские войска на Волыни вступили в контакт с подразделениями 27-й Волынской дивизии Армии Крайовой. Было достигнуто соглашение и велись совместные боевые действия против немцев.

И вот в этих условиях 26 июля было заключено соглашение о взаимоотношениях советских военных властей и администрации ПКНО, а фактически об обеспечении власти последнего на освобожденной территории. Военным комендантам предписывалось в соответствующей инструкции бороться с отрядами Армии Крайовой, используя при необходимости милицию, войска охраны тыла и части Красной Армии. Ее роль в данном случае была решающей.

МИЛЯКОВА Л. Б. Я бы хотела остановиться на теме экономических позиций Советского Союза в регионе ЦЮВЕ до 1947 г. На совещании компартий 1947 г. констатировался раскол мира на два блока в политическом и экономическом отношениях; говорилось, что стратегической

целью СССР было создание пояса безопасности в регионе. В сфере экономики целью СССР являлось создание экономик, которые бы дополняли индустриальный потенциал Советского Союза, особенно в потребностях на случай войны. Такую тенденцию можно отметить уже в планах восстановления 1946—1947 гг. Приоритет в них отдавался таким отраслям, как кораблестроение, железные дороги, отдельные отрасли тяжелой промышленности. Во второй декаде 1947 г. уже появляются признаки гипериндустриализации советского образца. В восстановлении и дальнейшем развитии стран региона СССР выступил единственным их партнером. Запад в силу политических и экономических причин не мог обеспечить их необходимым сырьем. Это сделал СССР. С этой целью были заключены двусторонние бартерные соглашения, которые очень критиковались на Западе, так как они прочно привязывали эти страны к Советскому Союзу. В то же время такая «привязка» осуществлялась как бы по инициативе стран региона, потому что все они амбициозно хотели продолжать индустриализацию, начатую в период войны. В результате у них практически не остается излишков для продажи на Запад, для получения валюты. Они, таким образом, сами закрывают себе возможность маневра. Если в начале бартер работал половину на восстановление, половину на индустриализацию, то с 1947 г. характер отношений меняется. Они практически начинают работать на гипериндустриализацию этих стран. Вторым путем «привязки» стран ЦЮВЕ — это соглашения с Венгрией, Румынией и Болгарией об экономическом сотрудничестве, которые давали возможность СССР путем создания совместных предприятий контролировать основные отрасли производства в этих странах. По европейским меркам, Венгрия, Румыния и Болгария были в то время слабо развитыми странами. И для развития их промышленности СССР должен был под планы экономического развития этих стран делать крупные капиталовложения для того, чтобы затем получить нужную ему продукцию. Таким образом, он финансировал эти планы, определяя при этом структуру хозяйства этих стран, которая дополняла структуру его экономики.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Подводя итоги, можно констатировать, что сегодня было высказано много важного, нужного и интересного, хотя тема, конечно, не исчерпана, да она и не может быть исчерпана никаким «круглым столом». Мы оставили пока в стороне одну очень важную линию. Эта линия заключается в том, как говорил уже В. К. Волков, что все определялось компартиями. Взаимодействие между ними и отношения между ними были тем каркасом, на котором строились отношения между странами. Не раскрытой осталась ситуация, связанная с образованием и деятельностью Информбюро. Но самое важное то, что положено начало. Будем считать, что мы провели инвентаризацию предварительного порядка, чтобы дальше двигаться по конкретным проблемам.

РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

В политике правящих кругов Чехословакии по отношению к русской эмиграции (в статье под «русской эмиграцией» подразумеваются все беженцы из России, независимо от национальности) после 1918 г. прослеживаются два главных направления. Консервативное — представленное К. Крамаржем, планировало крупномасштабную интервенцию с участием как чехословацких военнослужащих, так и русских пленных, находившихся в европейских странах. Так называемая группировка «Град» отвергала подобные планы, сомневаясь в их успехе, что, естественно, не свидетельствовало о ее расположенности к советскому строю. В стабильность этого режима ее представители не верили и надеялись, что рано или поздно он будет заменен демократической системой.

В 1920 г. в Чехословакии появилась волна беженцев из Сибири и Дальнего Востока, прибывшая с чехословацкими военными транспортом. Одновременно сюда приезжали ведущие русские общественные деятели, бежавшие за границу от советского режима. Особенно благоприятными в Чехословакии были условия для эмигрантов-эсеров. Движение эсеров считалось здесь перспективным, предполагалось, что вместе с другими демократическими партиями эсеры станут опорой будущей демократической России¹.

В 1920 г. в Чехословакии уже находились лидеры партии эсеров во главе с В. М. Черновым. В Праге началось издание журнала «Воля России», считавшегося официальным органом партии. Влияние эсеров усиливалось благодаря тому, что чехословацкие части в Сибири поддерживали тесные связи с местными эсерами, вскоре также появившимися в Праге (И. М. Брушвит, В. М. Зензинов, Е. Е. Лазарев и др.). Приветствовали там и украинских эсеров [2, kart. 261, ѓj. 110234].

Помимо представителей социалистических и демократических кругов России в Прагу приезжали и политические деятели правого толка. Они встречали здесь поддержку чехословацких консервативных течений, возглавлявшихся К. Крамаржем. В 1920 г. был создан так называемый Русский и крымский вспомогательный комитет К. Крамаржа [3, 1919, 15 X, ѓ. 283]. Монархисты устанавливали контакты с немецкими и польскими противниками Советской власти [4].

Особую поддержку чехословацких правящих кругов эсеры получили весной 1921 г., когда Советская Россия переживала трудный период перехода от войны к миру. Для обеспечения акции, которую лидеры эсеров готовили в связи с Кронштадским восстанием, они получили 10 млн крон [2, kart. 261, ѓj. 48291].

Сладек Зденек — д-р ист. наук, заведующий Отделом Института истории Восточной Европы ЧСАН.

¹ О значимости социалистических и демократических сил для будущего России говорил Т. Г. Масарик в своем так называемом токийском меморандуме в 1918 г. См. [1].

Хотя после поражения Кронштадского восстания выделение субсидий эсерам не прекратилось, центр тяжести чехословацкой политики начинает сдвигаться в иное направление, а вопрос о русской эмиграции — рассматриваться в более широком контексте.

После поражения белой армии на юге России в международном масштабе была предпринята гуманитарная акция, ставившая целью обеспечение убежища беженцам. Именно в это время генерал Врангель обратился к чехословацкому правительству с просьбой принять возможно большее количество его солдат [5].

Дальнейший ход событий показал, что чехословацкие власти избегали контактов с Врангелем и его штабом, не исключая при этом возможного участия в размещении части русских беженцев. 24 июня 1921 г. группа членов Национального собрания ЧСР обратилась к правительству с запросом, в котором содержалось предложение об оказании помощи беженцам, а в качестве примера приводилось югославское правительство. Затем 30 июня последовал запрос правительству ведущих деятелей социал-демократической партии, которые рекомендовали возложить заботу о русских эмигрантах на демократические и особенно социалистические круги [6]. В ответе на запрос министр иностранных дел ЧСР Э. Бенеш заявил, что его министерство уже приступило к подготовке плана такой гуманитарной акции. Подробности обсуждались на совещании, инициатором созыва которого выступили депутат-аграрий, один из руководителей заводов Шкода Шимонек, а также инженер А. С. Ломпаков, технический специалист, работавший позднее на заводах Шкода и читавший лекции в Пражском высшем техническом училище [7, kart. 230, č. 6284]. Видимо, на этом совещании была высказана идея о создании Комитета по обеспечению обучения русских студентов в Чехословакии [7, kart. 230, č. 6301]. На заседании 28 августа правительство одобрило «акцию оказания помощи русским студентам» [8].

Проведение данной акции поручалось Министерству иностранных дел ЧСР, которому в 1921 г. выделялось на ее финансирование 10 млн крон. В тот же день президент Т. Г. Масарик писал Э. Бенешу в связи с призывом М. Горького оказать помощь голодающим в России: «Проводя эту акцию, мы не можем забывать о многочисленных русских гражданах, живущих среди нас в Европе и оказание поддержки которым мы уже начали» [9].

Работа по организации приезда русских беженцев была начата в сентябре 1921 г. Представительство ЧСР в Стамбуле получило от министерства указание о направлении 1 тыс. студентов и 4 тыс. земледельцев из Стамбула, Галлиполи и с Лемноса [10]. Приезд разрешался «настоящим студентам», но ни в коем случае не воинским частям и людям Врангеля. Что касается так называемых земледельцев, то не менее половины этой группы должны были составлять казаки. Заботу о них брала на себя аграрная организация Сельскохозяйственная община.

К началу 1922 г. в Чехословакию прибыли более 2 тыс. земледельцев, большинство из которых — казаки с Дона, Терека и Кубани [11, с. 29]. Приезжали и заинтересованные в учебе лица, которых к этому времени насчитывалось почти 1,5 тыс. человек [11, с. 70; 12, с. 17—18]. Их маршрут пролегал из Турции в Грецию и Югославию, оттуда через Триест в Чехословакию [13, с. 74—78].

В конце 1921 г. на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания Э. Бенеш сформулировал концепцию чехословацкой акции помощи русским беженцам. Чехословакия должна была взять под опеку детей, женщин и инвалидов, а также земледельцев, студентов и ученых. Бенеш отметил, что уже создаются учебные заведения и учреждения, оказывается помощь культурным и художественным мероприятиям. В заключение он сообщил, что «русская акция» не должна носить политический характер и что эмиграция не должна вмешиваться во внутренние дела ЧСР [14; 15]. К вопросу о целях акции Масарик вернулся в 1923 г. Он подчеркнул, что Чехословакия считает своим долгом «собрать, сберечь и поддержать остаток культурных сил» в эмигрант-

ской среде [16, с. 9—10]. Такая позиция чехословацких деятелей имела огромное значение. Было принято решение не только о поддержке русской эмиграции в течение длительного времени, но и определен характер этой акции с ориентацией в основном на культурно-образовательную сферу.

Вместе с массой беженцев из России, прибывших в Чехословакию, в Праге оседали люди, имена которых оставили след в судьбе России. Они как бы отражали разные грани тревожных событий русской истории, начиная с рубежа столетий:

несколько поколений членов партии эсеров — Е. К. Брешко-Брешковская, В. М. Чернов, Г. И. Шрейдер, В. М. Зензинов, И. М. Брушвит, Е. Е. Лазарев, В. Я. Гуревич, Б. Н. Рабинович, Е. Сталинский и др.; деятели, стоявшие у истоков социал-демократического движения — П. Б. Струве, Е. Д. Кускова, С. Н. Булгаков, С. Н. Прокопович;

политики и военные периода революций 1917 г. и гражданской войны — министры Временного правительства П. П. Юренев, С. Н. Прокопович, А. В. Пешехонов; члены гетманского правительства В. Н. Леонтович и Д. Дорошенко; представители Украинской Народной рады проф. М. Грушевский и М. Шаповал; члены правительства Западноукраинской народной республики А. Агенор и А. Маршинский; член белорусского правительства Т. Гриб; член Северо-западного правительства В. Л. Горн; председатель Большого Донского круга и член Думы В. А. Харламов; родственница председателя Думы Родзянко, жена генерала Брусилова, жена одного из лидеров кадетов Набокова и др.;

представители науки — византиновед Н. П. Кондаков, геолог и палеонтолог Н. И. Андрусов, славист В. А. Францев, экономист П. Б. Струве, лингвист Р. Якобсон, социолог П. Сорокин, историк Г. В. Вернадский, искусствовед С. К. Маковский и др. Многочисленные представители всех ведущих научных специальностей — от гуманитарных до технических — внесли вклад и в развитие чехословацкой науки, воспитание многих поколений студентов.

Достоинной уважения была и галерея представителей русской культуры: писатели Д. С. Мережковский, А. Т. Аверченко, С. Н. Чириков, В. И. Немирович-Данченко, З. Гиппиус, И. С. Шмелев, М. И. Цветаева и др. В Праге работали ведущие актеры МХТ, ученики прославленной русской балетной школы и т. д. Жила здесь и память о Л. Н. Толстом, которую хранили его сын, внучка и последний секретарь В. Ф. Булгаков.

В 1921 г. начался массовый прилив эмигрантов из России, который намного превзошел первоначальные прогнозы: в 1921 г. прибыли 6 тыс. человек, 1923 г. — 23, 1924 — 20, 1925 — 25, 1932 — 10,5, 1936 — около 9, 1939 г. — 8 тыс. [17].

Приведенный цифровой материал приблизителен; согласно некоторым источникам, количество эмигрантов было бóльшим [18]. О неточности данных, включая и официальные, свидетельствует полемика 1936 г. по этому вопросу [19]. С полным основанием можно утверждать лишь следующее: после первой волны начала 20-х годов количество эмигрантов стало снижаться. Чехословакия, с одной стороны, превратилась как бы в некий перевалочный пункт, с другой же — многие эмигранты, закончив учебное заведение либо курсы, уезжали в другие страны, получая при этом финансовую помощь от властей.

Относительно социального состава эмиграции нужно отметить, что это были прежде всего представители имущих слоев. По некоторым подсчетам, к ним относились 80% эмигрантов. Полными сведениями о социальном происхождении эмигрантов в ЧСР мы не располагаем и потому вынуждены обратиться к отрывочным данным о социальном происхождении родителей, дети которых обучались в русской гимназии в Моравской Тржебове (табл. 1).

Социальный состав эмигрантов после их отъезда из России, конечно, изменился. Имеются данные, что около 60% работали в сельском хозяйстве, многие были студентами и преподавателями [20; 21, с. 264—265].

Социальное происхождение родителей учащихся русской гимназии в Моравской Тржебове [12, с. 47]

Социальное происхождение	% от общего числа	Социальное происхождение	% от общего числа
Офицеры	26	Преподаватели	6
Казачи	16	Юристы	4
Чиновники	9	Врачи	3
Торговцы и ремесленники	12	Священники	3
Земледельцы	11	Промышленники	3
Помещики	7		

«Однако со временем и это исходное положение изменялось. Часть закончивших учебу осталась в Чехословакии, отыскивая здесь средства к существованию. Особенно в Словакии и Подкарпатской Руси (официальное название Закарпатской Украины в то время) многие русские и украинцы состояли на государственной службе, а также овладели другими профессиями [21, с. 264—265].

Национальный состав эмигрантов был чрезвычайно пестрым: русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, калмыки, татары, немцы, а также чехи и словаки [20, с. 34; 12, с. 72].

Первоначально проведение «русской акции помощи» было возложено на правительственные организации. Основной из них являлся Земгор (Объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой Республике). Его возглавляли лидеры эсеров: в 1921 г. В. М. Зензинов, затем В. Я. Гуревич, а с 1922 г. — И. М. Брушвит [11, с. 10]. Заботу об украинских эмигрантах взял на себя Украинский громадский (общественный) комитет во главе с М. Шаповалом [12, с. 78]. Лишь в состав Согора (Союз городов) в большинстве входили кадеты [17, с. 382]. Первоочередной задачей этих организаций являлось создание учебных заведений для эмигрантов. В 1922 г. в Праге был основан Русский юридический факультет, профессорский состав которого состоял из квалифицированных педагогических и научных кадров по всем специальностям юридической науки. Их работы публиковались в «Ученых записках Русской учебной коллегии в Праге». Это заведение закончили 384 студента.

Вторым высшим учебным заведением являлся Русский педагогический институт Я. А. Коменского с двухлетним обучением. Его закончили 100 студентов. Научные работы сотрудников института публиковались главным образом в журнале «Русская школа за рубежом».

Еще в мае 1921 г. в Праге был создан Русский институт сельскохозяйственной кооперации, имевший несколько факультетов: кооперативный, экономический и юридический. Его закончили 259 человек, из них 48 получили звание инженера. Результаты исследовательской работы института издавались в «Записках Института сельскохозяйственной кооперации».

Кроме того, в Праге работал с 1923 г. Русский коммерческий институт, выпустивший 37 специалистов. В 1925 г. он прекратил существование. С 1922 г. функционировал Русский народный университет, ставивший перед собой просветительские задачи и располагавший разветвленной сетью местных филиалов, которые устраивали лекции по всем ведущим дисциплинам. Его закончили 450 человек.

Русские учебные заведения в ЧСР включали также средние школы, такие как реальная гимназия в Праге-Страпнице, созданная в 1922 г., реформированная реальная гимназия-интернат в Моравской Тржебове, которая возникла в Стамбуле по инициативе педагога А. В. Жекулиной. В начале 30-х годов они объединились.

Функционировали специальные учебные заведения. В 1922 г. был основан Русский институт транспортной связи. Его закончили 80 студентов, которые легко находили себе работу в Чехословакии. Такие же

пансы имели и 712 специалистов, закончивших автомобильную и тракторную школы в Праге.

Педагоги русских учебных заведений объединялись в Комитете по обеспечению обучения русских студентов, а затем в Русскую академическую группу, куда входили в основном преподаватели вузов. Учителя низших учебных заведений состояли в так называемом Педагогическом бюро.

Русские студенты обучались также и в чехословацких учебных заведениях. До 1927 г. вузы закончили 1726 русских. В дальнейшем численность студентов снижалась: в 1928 г. был зарегистрирован 1591 студент вузов, в 1930 г.— 906, а в 1931 г.— около 500. Наблюдался неуклонный рост требований, предъявлявшихся студентам, а выплата стипендий ставилась в зависимость от сдачи экзаменов.

Акция помощи не ограничивалась поддержкой студентов. Одновременно создавались институты и учреждения, ставившие своей целью исследовательскую работу и подготовку новых научных кадров. К наиболее значимым институтам этого типа следует отнести Русский заграничный архив, созданный в 1923 г. при поддержке Земгора. Его целью являлась концентрация архивных документов, материалов и прессы по истории России. Архив возглавлял научный совет, в котором были представлены и чехословацкие научные и административные учреждения. В 1928 г. архив был передан в ведение Министерства иностранных дел ЧСР, а его директором стал известный русист проф. Я. Славик. Архив имел корреспондентов в столицах европейских государств и приобретал материалы в основном от эмигрантов. Составной его частью была обширная библиотека, переданная впоследствии Славянской библиотеке в Праге. В Русский заграничный архив влились также Донской казачий архив, привезенный в Прагу в 1928 г. и находившийся в ведении Донской исторической комиссии, и Белорусский архив.

Украинский национальный архив, основанный в 1923 г. Украинским комитетом громадознавства (обществоведения), создавался сначала как самостоятельный. Министерство иностранных дел выделяло средства на его деятельность, но в его компетенцию архив перешел лишь в 1930 г., когда был передан Украинскому историческому кабинету. С 1927 г. составной частью этого кабинета становится Кубанский заграничный архив. Украинские фонды во время оккупации были подчинены немецким властям и разделили судьбу своих документов. После освобождения эти фонды вместе с частью Славянской библиотеки были переданы Академии наук СССР. Протесты против передачи во внимание не были приняты.

Еще одним важным специальным учреждением русской эмиграции являлся Экономический кабинет проф. С. Н. Прокоповича, созданный в 1922 г. в Берлине. В 1924 г. он был переведен в Прагу. Кабинет издавал «Русский экономический сборник», «Экономический вестник», а впоследствии «Экономический бюллетень». Большое внимание в публикациях на страницах этих журналов работам уделялось развитию советской экономики. Многие их положения сохраняют свою ценность и в наши дни.

Институт изучения России в Праге находился в руках эсеров. Его возглавляли В. М. Чернов, С. С. Маслов и И. А. Якушев. В «Записках Института изучения России» публиковались результаты научной деятельности сотрудников Института, посвященные главным образом истории сельского хозяйства и крестьянства.

Русский научный институт сельскохозяйственной культуры во главе с К. Р. Кочаровским занимался изучением состояния сельского хозяйства в России и за рубежом. Им руководил Союз русских академических организаций.

Русский институт в Праге, созданный в 1923 г., считал своей задачей сближение Чехословакии с Россией. Институт концентрировал внимание главным образом на популяризации сюжетов, связанных с историей и культурой России. Его деятельность была прекращена в 1928 г. после создания Русского научного института в Белграде [20, s. 34]. Подобную

Таблица 2

Средства, выделявшиеся из государственных источников на акцию помощи [2, kart. 261, ѓ. 48291]

Год	Сумма (в млн крон)	Год	Сумма (в млн крон)
1922	120	1930	8
1923	120	1931	7,5
1924	99,65	1932	3
1925	72,93	1934	2,95
1926	83,25	1937	3,64
1928	30		

цель ставило перед собой и Чешско-русское общество, основанное в 1919 г. и возглавлявшееся представителями чехословацкой и русской общественности и науки.

Кроме перечисленных, в Праге возник целый ряд организаций, которые объединяли русских ученых по специальностям: Общество по изучению городского самоуправления в ЧСР, Русское историческое общество, Русское философское общество, Русский теоретический кружок и многочисленные профессиональные организации и общества. Общество изучения Сибири, основанное русским публицистом и политическим деятелем И. А. Якушевым, выпускало периодическое издание «Сибирский архив» (1929—1935).

Из украинских научных учреждений следует назвать Украинский национальный архив, который упоминался выше, Украинский институт обществоведения (громадознавства), возглавлявшийся украинскими эсерами во главе с М. Шаповалом. Институт имел отделения социологии и политики, экономики и краеведения, издавал обозрение «Суспільство» («Общество»). В 1932 г. вышел в свет сборник «Народознавство».

Кроме того, в Праге действовали украинские научные общества, в частности, Украинское историко-филологическое общество, Украинское юридическое общество, Философско-педагогическое общество Г. Сковороды, после ликвидации которого в 1930 г. было образовано Педагогическое общество. Здесь работало также Украинское общество друзей книги, а в 30-е годы — Украинская научная ассоциация. За украинско-чехословацкое сближение выступало общество Чехословацко-украинской взаимности в Праге, имевшее филиалы в Брно и Младе Болеславе. Кроме того, в Чехословакии были созданы многочисленные украинские профессиональные организации и общества.

Какие средства выделялись для «русской акции помощи»? Масштабы и динамику этой помощи можно проследить по табл. 2.

Вначале средства выплачивались без точной регистрации. О том, как это выглядело на практике, видно из сообщения русского отделения II секции Министерства иностранных дел ЧСР. Деньги выдавались эмигрантским организациям, чтобы их использовали так, как они сами считают нужным, в частности, на цели, которые данная организация перед собой поставила. Отчет о том, как были использованы выделенные средства, от них не требовался. Такая свобода была предоставлена им по политическим соображениям. Предполагалось, что речь идет о временной акции [2, kart. 261, ѓ. 48291]. Лишь в 1924—1925 гг. начал производиться учет выплат. С 1926 г. распределение средств на «акцию помощи» было отнято в Земгора, а делопроизводство передано Чехословацкому Красному кресту. Подавляющая часть средств для целей, связанных с образованием, стала выдаваться соответствующими министерствами непосредственно. Это относилось, в частности, к министерствам сельского хозяйства, образования и национального просвещения, социального обеспечения. Выделенные средства учитывались в государственном бюджете. Однако в первые годы «акции помощи» они были лишь незначительной частью израсходованных средств, а в 1924 г. составляли примерно одну треть.

Постепенное сокращение средств на помощь обуславливалось рядом факторов. Прежде всего этому способствовало то обстоятельство, что надежды на возвращение России к демократической системе начали гаять, а вместе с ними исчезали и политические надежды, связанные с эмиграцией. В 1926 г. в статье о славянской политике Э. Бенеш писал: «...ни в одной большой революции эмиграция никогда не возвращалась на политические позиции, которые она покинула. Русская эмиграция уже не будет играть политическую роль... в целом перед ней стоит другая задача: в первую очередь культурная» [22, 1926, s. 207]. Возражая, страстный приверженец консервативной политики К. Крамарж утверждал, что «...духовными вождями будут прежде всего люди из эмиграции, так как они в течение многих лет видели относительно здоровую и совершенно иную жизнь, чем те, кто находился в ужасной атмосфере большевистской России» [23]. В этом споре, который явился отражением борьбы за власть между отдельными течениями чехословацких правящих кругов, правда, несомненно, была на стороне Бенеша.

Другой фактор, сыгравший роль в решении вопроса об организации «акции помощи», — внешнеполитический. Контакты с СССР, которые с середины 20-х годов развивались Министерством иностранных дел в связи со стремлением установить отношения с СССР, побуждали прислушиваться к многочисленным протестам советского правительства, выступавшего против поддержки русской эмиграции.

Однако нельзя не отметить и роль внутриполитических факторов. Размеры средств, выделявшихся на «акцию помощи», вызывали возражения со стороны гражданской коалиции. Симптомом этих настроений явился упрек официального органа Министерства иностранных дел ЧСР «Prager Presse», что на акцию помощи русским выделяется больше средств, чем на социальное обеспечение студентов [24, kart. 53, ѓ. 35, 97, 6 II 1926].

Наконец, сыграла роль и распространенность мнения, что акция помощи выполнила-де свою миссию и наступило время ее ликвидировать. Выступая в бюджетной комиссии Национального собрания, представитель Министерства иностранных дел ЧСР подчеркнул, что Совет Министров принял решение о планомерной ликвидации «акции помощи», но что одним махом этого сделать нельзя [24, kart. 47, s. 207, 16 XI 1926]. Дискуссиям в гражданской коалиции положил конец аграрий М. Годжа, заявив в ноябре 1927 г., что акция будет продолжаться. Его поддержал руководитель аграриев А. Швегла [3, 1927, 19 XI, ѓ. 319; 2, kart. 261, dopis z 18 XII 1927].

Дальнейшие события вокруг «акции помощи» развернулись в 1931 г., когда стали распространяться слухи о том, что правительство прекратило всякую помощь. 1 июля правительство заявило, что оно берет на себя «акцию помощи», «независимо от партийной принадлежности». Против ликвидации «акции помощи» с решительным протестом выступила Чехословацкая национально-демократическая партия и Чешский Национальный Совет во главе с влиятельным политиком-аграрием Прокушеком [2, kart. 261, ѓ. 113209].

Таким образом, «акция помощи» была продолжена, однако выделявшиеся для этой цели средства существенно уменьшились. Некоторые институты и заведения прекращали свою деятельность, другие владели жалкое существование, а остальные удерживались «на плаву» только за счет даров, которые поступали из различных источников, не связанных с «акцией помощи». К ним относились дары президента республики, который, в частности, поддерживал Украинский свободный университет².

Чехословацкие органы продолжали субсидировать эмиграцию, хотя и разделили сферы компетенции. Министерство сельского хозяйства оказывало поддержку административной комиссии русских земледельцев при Центральном сельскохозяйственном объединении, Общезаказьему

² Из материалов совещания министров, состоявшегося 18 декабря 1936 г., следует, что из фонда президента республики была выделена субсидия в размере 90 тыс. крон ежегодно. См. [2, kart. 257, ѓ. 165148].

сельскохозяйственному союзу, эсеровской группе С. С. Маслова [2, kart. 257, ѓj. 165148].

Министерство иностранных дел обеспечивало социальную помощь престарелым и известным общественным деятелям-эмигрантам. В 1932 г. помощь получали 36 русских писателей и журналистов и 239 престарелых лиц [7, kart. 232, ѓj. 6365/2]. Из политических деятелей эмиграции в ЧСР в 1931 г. помощь получали Н. Астров, В. М. Чернов, М. Шаповал, Е. Брешко-Брешковская. С 1933 г. помощь, оказываемая Земгору во главе с И. Брушвитом, а также С. С. Маслову, была снижена.

Наряду с учебными заведениями и институтами дотации выделялись и многочисленным русским и украинским организациям и обществам. Размер дотаций, в число которых были включены специальные выплаты для казачьих организаций [2, kart. 261, ѓj. 38948/II/28], постепенно снижались и наконец поступления стали идти только в головные организации³.

Но этот перечень не охватывает всех видов помощи, получаемых эмиграцией. Ее финансировали также политические партии и их лидеры. Особенно выделялась Чехословацкая национально-демократическая партия, которая с конца 20-х годов сама стала ощущать серьезные финансовые затруднения [26]. Русскую эмиграцию в этой партии курировал депутат Ант. Гайн⁴. Именно он принял участие в судьбе Льва Магеровского, издававшего бюллетень «Руссунион», который снабжал разнообразной информацией чехословацкую печать.

В устройство русских эмигрантов значительный вклад внесло также Министерство сельского хозяйства. Министерство устраивало эмигрантов на государственную службу в Словакии, что, однако, вызывало протесты словацкой националистической прессы [25, 1937, ѓ. 80].

К середине 30-х годов чехословацкая внешняя политика в рамках концепции коллективной безопасности начала сближаться с политикой Советского Союза. В данном контексте русская эмиграция стала превращаться в препятствие. Министерством иностранных дел было издано распоряжение, запрещавшее официальным лицам принимать участие в акциях эмигрантских организаций. По поводу этого распоряжения раздавались огорченные голоса, но они ничего не могли изменить [17, 1926, s. 259]. Тем не менее даже после этого чехословацкие власти помощь эмигрантам не прекратили.

Как уже отмечалось, чехословацкие правящие круги поддерживали прежде всего эсеровскую эмиграцию. Однако это отнюдь не значит, что она полностью завладела политической сценой. В середине 20-х годов в Праге были представлены все политические течения, характерные для эмиграции в целом:

Русское национальное объединение (комитет Русского национального союза за границей), председатель — бывший член Государственного совета Н. П. Савицкий;

Русская национально-демократическая группа (во главе с Б. Л. Бурцевым), председатель в Праге — Л. Магеровский;

Русская сельскохозяйственная группа «Сельский путь», председатель — П. Донченко;

Крестьянская Россия (во главе с С. С. Масловым), крыло партии эсеров;

Республиканское объединение и группа кадетов (течение Милюкова), председатель В. Харламов;

Русский комитет Зеленого Интернационала во главе с Я. Емельяновым;

Представительство русских меньшевиков во главе с проф. Стоиловым.

Особое положение занимали казачьи организации. В Чехословакии

³ К ним принадлежали, в частности, Объединение русских эмигрантских организаций, получившее в 1935 г. 5 тыс., в 1936 г. — 4, а в 1937 г. — 2 тыс. крон. См. [25, 1937, ѓj. 5308]. В объединение входили 42 русские организации. См. [16, с. 1—2].

⁴ Хранящийся в Архиве национального музея Фонд Гайна содержит на этот счет весьма многочисленные доказательства. См. [7, kart. 232, ѓj. 6365/2].

находилась резиденция общеказачьей организации (Общеказачий сельскохозяйственный союз) и чехословацкий филиал организации Казачий союз, а также самостоятельная организация кубанских казаков [11, с. 178—193].

Если в первые годы после гражданской войны преобладала уверенность в скором падении советского строя, то затем взгляды начали меняться. Часть эмиграции продолжала питать надежды на постепенную трансформацию советского строя. Наиболее заметным представителем подобных настроений являлось сменовеховское движение. Однако мы почти не располагаем данными о том, в какой степени оно коснулось эмиграции в Чехословакии.

С полным основанием можно утверждать лишь следующее: чехословацкая эмиграция не была изолированной от остального эмигрантского мира. Активные связи были установлены ею главным образом с Парижем, где находили поддержку социалистические и демократические течения эмиграции, в то время как Берлин и Белград (а также Харбин) благоволили главным образом монархистам. Взаимные связи эмигрантских политических (и всех остальных) кругов были весьма интенсивны. Их представители часто встречались, устраивали лекции и дискуссии.

Понятно, что чем проблематичнее становилось возвращение России к дореволюционным порядкам, тем более бурно проходили дискуссии эмигрантов на тему: следует ли смириться с советским строем или же остаться в эмиграции, не исключая возможной ассимиляции? Этот вопрос не был лишь идеологическим. В отношении перемещения эмигранты в Чехословакии не имели проблем, поскольку получали временные чехословацкие паспорта. Позднее, с 1 января 1930 г., пражское полицейское управление и районные управления стали выдавать так называемые паспорта Нансена со сроком действия на год [7, kart. 332, с. 6357]. Статус эмигранта, поддерживаемый этим паспортом, имел для русской эмиграции в Чехословакии, по сравнению с другими странами, где власти не признавали их статуса, большое преимущество. Однако при этом не было устранено неравенство, вытекавшее из того, что эмигрант не имел чехословацкого гражданства. Согласно закону о защите национального рынка труда (1928) эмигранты должны были иметь согласие на получение работы от земского политического управления. Разумеется, эти органы отдавали предпочтение своим соотечественникам. Поступление эмигранта на работу, особенно в государственный аппарат, было невероятно трудным. Многочисленные эмигранты, которые не рассчитывали на возвращение, начали ходатайствовать о получении чехословацкого гражданства. Чем дальше они оттягивали это решение, тем большие трудности встречались на их пути.

Принять решение о своей судьбе для эмигранта было делом нелегким и часто оно не раз менялось. Показательным в этом плане является движение евразийцев, к которому примыкали известные представители русской эмиграции в Праге, в том числе П. Н. Савицкий, Р. Якобсон, Н. Н. Алексеев и М. В. Шахматов [27]. Поначалу в этом движении преобладала тенденция примирения с советским правительством как носителем идеи русской государственности. Евразийство было весьма популярным, а организованные его представителями семинары и студенческие кружки имели массовую аудиторию. Однако в конце 20-х годов в евразийском движении произошел раскол: пражская группа заняла непримиримую по отношению к Советской России позицию.

Споры о будущем эмиграции отразились и на представителях молодого поколения. В начале 30-х годов в Праге возникла организация «Второе Поколение», утверждавшая, что эмиграция должна интегрироваться с новой родиной. Отношение этой организации, которая даже стала издавать свой журнал, к старшему поколению напоминало конфликт отцов и детей. Несмотря на это, вскоре стало ясно, что второе поколение похоже на своих отцов больше, чем само подозревало.

Группа так называемых народоправцев, которая появилась в конце 20-х годов, напоминала сменовеховцев. Члены этой группы выступали

против новой гражданской войны, планируя вместе с тем путем инфильтрации в Советский Союз достичь своей цели: создания свободной империи российского крестьянства. Эмигранты должны были сыграть роль распространителей этого идеала [28, 50/4, s. 814].

О существовании иного, «активистского» полюса эмигрантского политического течения напомнило покушение русского эмигранта из Чехословакии П. Горгулова на французского президента П. Думера 6 мая 1932 г. в Париже. Расследование инцидента осложнялось тем, что стало объектом политической кампании. В конце концов выяснилось, что это была акция психопата-одиночки, на которого оказала влияние и эмигрантская среда ⁵.

Шум вокруг горгуловской аферы вскоре утих; более длительный интерес тогда вызывала группа так называемых младоруссов. Это движение ставило своей целью соединение царской монархии с советской системой. Сведения об этом движении в Чехословакии были противоречивы. Согласно одним источникам, младоруссы выступали против германофильских настроений среди эмигрантов и даже симпатизировали сближению Чехословакии и СССР [30]. В других утверждалось, что младоруссы стремятся опереться на Германию с целью достижения освобождения России [28, 50/2, s. 784; 31, с. 143].

Среди эмиграции обнаруживались течения, приверженные фашизму [2, kart. 258, sl. 2/2]. Особенно сильно, по некоторым сведениям, влияние Берлина просматривалось в казачьей среде [32].

С начала 30-х годов на позиции эмигрантов стал оказывать влияние главным образом внешний фактор. Победа нацизма в Германии, связанные с этим антисоветские кампании вызывали страх перед войной. В эмигрантских кругах проходили дискуссии, на которых обсуждались вопросы, как в случае войны следует себя вести [31, с. 231].

Новая обстановка вела к модификациям прежних позиций. Согласно некоторым источникам, евразийцы начали склоняться к «оборончеству», поддерживая чехословацко-советское сближение. В Праге даже было создано эмигрантское объединение друзей СССР [32].

В этих сложных условиях, отягощенных социальными проблемами некоторых эмигрантов, стало культивироваться сотрудничество с советскими секретными службами. Хотя мотивы подобных поступков и были патриотическими, но они иногда заканчивались трагически. В качестве примера можно привести судьбу директора русской Славянской библиотеки Вл. Н. Тукалевского. На московском процессе Зиновьева и Каменева в адрес Тукалевского прозвучало обвинение в том, что он находился в контакте с троцкистами и гестапо. Советские власти отказались представить в связи с этим более подробные объяснения [33]. Согласно информации из эмигрантских кругов, которая была получена Министерством иностранных дел, Тукалевский являлся корреспондентом московской газеты «Известия» и его сотрудничество с советскими органами безопасности не было исключено [34, 1936/1, ѓ. 165/165/121073]. После этого Тукалевский ушел из Славянской библиотеки и вскоре умер. Ян Славик, директор Русского заграничного архива, написал в некрологе, что расследование обстоятельств не подтвердило вину Тукалевского, заметив при этом, что поведение Тукалевского не было безупречным [22, 1937, s. 27].

К примерам подобного рода можно отнести и кампанию против С. С. Маслова, лидера движения Крестьянская Россия. Чехословацким властям стали поступать сведения о связях Маслова с Берлином ⁶. Расследованием занималось Министерство внутренних дел, которое пришло к выводу, что полученные доносы вызваны стремлением свести счеты [34, 1936/1, ѓ. 338846]. Доносы продолжали поступать, в том числе и через

⁵ П. Горгулов изучал в Чехословакии медицину, однако это не могло удовлетворить его литературные и политические амбиции. Он предпринял попытку организовать партию «зеленых», составив даже ее программу: «Зеленая программа есть путь к спасению России». И. Эренбург описал феномен П. Горгулова в своих воспоминаниях [29].

⁶ Эта информация попала в руки и К. Крамаржа. См. [28, 32/16, s. 76].

чехословацкое представительство в Белграде [35]. Между тем выяснилось, что к деятельности Маслова проявило интерес советское представительство в Праге [34, 1937/69, с. 68865]. Думается, что ключом к пониманию этой акции является другая информация (1938), в которой указывалось, что на процессе правотроцкистского блока весной 1938 г. обвиняемый Бессонов утверждал, что он осуществлял-де связь между Троцким и Масловым, а последний якобы устанавливал контакты с Берлином, Варшавой, Бухарестом и Белградом. На самом деле о Маслове говорил не Бессонов, а Н. Н. Крестинский [25, 1938, с. 1096], хотя из его речи неясно, имел ли он в виду С. С. Маслова. Можно предполагать, что последнего намеревались дискредитировать перед чехословацкими властями. Информация, представленная в 1938 г., по крайней мере свидетельствует об этом.

Также как и в русской, решающее влияние в украинской эмиграции в Чехословакии первоначально имели эсеры и их представитель — Украинский общественный (громадский) комитет, который осуществлял «акцию помощи». После его ликвидации в 1925 г. и передачи делопроизводства Чехословацкому Красному кресту оказалось, что политический состав украинской эмиграции в ЧСР чрезвычайно пестр. Из анализа, представленного Министерству иностранных дел в 1927 г., следует, что украинские политические течения в целом объединяло одно — отрицание советского строя. Различия проявлялись в конкретных программах. «Надднепрянцы» выступали за создание самостоятельной Украины с включением территории, являвшейся составной частью Советского Союза. Они являлись приверженцами Великой Украины, включавшей Западную Украину и Галицию. «Надднепрянцы» во главе с Петлюрой придерживались пропольских позиций. Их организации, руководимые Украинской Народной Радой и Украинской национальной армией, тоже имели свою опору в Чехословакии. Кроме указанных двух групп, в докладной записке были названы течение Скоропадского, партии украинских национальных демократов и украинских социал-демократов, Партия социалистической революции во главе с М. Шаповалом и украинские христианские социалисты (см. [36]).

О влиянии украинской военной организации в Чехословакии на Хозяйственную академию в Подебрадах информирует другая докладная записка, составленная Министерством внутренних дел. В ней дана характеристика Легиона украинских националистов, который в 1929 г. был распущен из-за своей германофильской ориентации [2, kart. 258, с. 163760/11].

Информатором Министерства иностранных дел ЧСР в 30-е годы был М. Григорьев. Подготовленный им анализ был даже опубликован, в частности, в полуофициальной газете «Внешняя политика» [37, 1932, с. 378—383]. Автор обращает внимание на распыленность украинского движения, в котором выделено множество направлений. Главными из них он считает те, что выступали за самостоятельное украинское государство. Автономное течение ратовало за автономию украинского населения. К конъюнктурным он относил движение, которое приспособлялось к местным условиям, а основной силой считал самостоятельное соборное демократическое течение, которое имело в Чехословакии двух депутатов в Подкарпатской Руси. Конъюнктурное движение представляли в Подкарпатской Руси так называемая Крестьянская трудовая партия и украинская секция социал-демократов.

Докладная записка, составленная в 1934 г. Пражским полицейским управлением, не ставила своей целью дать общий анализ украинского политического движения. В ней сделан акцент на отражении этого движения в чехословацкой украинской эмиграции. Авторы записки указали на разногласия, появившиеся в петлюровском движении (УНР) в результате нараставшей оппозиции против полонофильского влияния в руководстве. Под влиянием УНР, согласно указанному документу, в Чехословакии находились следующие эмигрантские организации:

Республиканский демократический клуб в Праге, насчитывавший

159 членов, председатель — писатель и профессор М. А. Славинский; Украинская общность в Праге с филиалами в чешских городах — 186 членов, председатель — проф. А. Яковлев; Союз украинских журналистов и писателей за рубежом, объединявший 52 человека, из них 39 — в Чехословакии, председатель Ш. Сирополко.

Движение Скоропадского в Чехословакии представляли: Союз гетманских крестьян численностью около 50 человек; кружок запорожцев в Брно; Клуб украинских старшин в Праге и ряд других мелких групп.

Организация украинских националистов (ОУН) не имела, согласно общению полицейского управления в Чехословакии, ни одной собственной ячейки, однако покровительствовала некоторым украинским головным объединениям. Центральный союз украинского студенчества объединял примерно 30 украинских студенческих групп, в том числе Союз украинских эмигрантских организаций в Праге; Украинскую скаутскую организацию; Украинско-литовское объединение и Украинский Сокол в Праге. Еще одна политическая партия, о которой содержится информация в сообщении, — украинские эсеры. В 1926 г. партия пережила кратковременный кризис. Печатным органом ее стал журнал «Трудова Україна». Под влиянием эсеров в Чехословакии оказался Украинский общепрофессиональный рабочий союз, Украинский комитет в ЧСР и Украинское крестьянское общество. Украинская социал-демократия не имела в Чехословакии особого влияния. Ее лидер — И. Мазепа, профессор Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. Здесь же издавался журнал партии.

Чехословацкие власти уделяли значительное внимание украинской эмиграции, поскольку ее деятельность вызывала протесты со стороны и польских властей, и советского представительства в Праге⁷.

Польские власти предъявляли чехословацкому правительству обвинения в том, что оно-де терпит деятельность украинских националистических организаций, которые ведут в Польше террористическую и пропагандистскую деятельность [38]. Из служебной информации Министерства иностранных дел ЧСР следует, что правительственные органы не оставляли без внимания подобные протесты, выдворяя, впрочем, из страны и невинных людей [34, 1935/38].

На «германофильские» настроения в среде украинской эмиграции указывали и полуофициальные «*Lidové poviny*» в связи с деятельностью так называемого Национального союза нового поколения [39]. В Информации об украинской эмиграции, представленной Министерству иностранных дел ЧСР, говорилось, что ни одно из украинских политических течений не выступает за примирение с СССР и что среди них проявляются германофильские настроения [25, 1938, с. 4162].

Особый раздел посвящен украинской эмиграции в Подкарпатской Руси, находившей здесь поддержку не только социал-демократов, но, как это ни странно, и Чехословацкой национально-демократической партии, которая использовала деятелей украинской эмиграции для проведения пропагандистской работы среди русинского населения в Восточной Словакии и Подкарпатской Руси. Украинских журналистов в Подкарпатской Руси отличали и чрезвычайная активность и спектр деятельности: от политической до просветительской.

Автор статьи о так называемом сепаратистском движении причислил украинское движение к одному из «нерусских» направлений в эмигрантской политике. В этой связи он указал и на публицистическую активность казачества [37, 1937, с. 341—348].

Из сообщений об украинском политическом движении в Чехословакии следует, что украинская эмиграция в своем большинстве находилась в непримиримой оппозиции по отношению к советскому правительству и в качестве своей цели выдвигала самостоятельность Украины.

На политические позиции эмигрантов из России, оказавшихся в Чехословакии после мировой войны и особенно после интервенции и граж-

⁷ Так, речь шла о Комитете помощи голодающим Украины [21, с. 134].

данской войны, сильное влияние оказывали различные факторы, из-за которых они покинули страну. Соответственно окрашивалось и их отношение к советскому строю. Однако эти позиции менялись под воздействием как международной обстановки, так и национального состава эмиграции, смены поколений, а также, что немаловажно, эмоциональной зависимости от родины.

Отношение чехословацких правящих кругов к эмиграции долгое время строилось на предположении, что советская власть является переходным явлением на русской земле, что она будет заменена демократической системой. Основным центром тяжести этой политики и поддержки эмиграции находился в культурной области. Программы воспитания новой русской и украинской интеллигенции явились грандиозным и уникальным явлением в европейском и общемировом масштабе. Они находили активный отклик общественности, различных учреждений, отдельных лиц.

В то время как одна часть эмиграции рассматривала свое пребывание в Чехословакии как временное, другая — включилась в жизнь этой страны, разделив ее судьбу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Světová revoluce. Z války a ve válce 1914—1918. Praha, 1925, s. 240.
2. Archiv federálního ministerstva zahraničních věcí (AFMZV), Praha, II. sekce.
3. Národní listy (Praha).
4. Gajan K. Německý imperialismus a československo-německé vztahy v letech 1918—1921. Praha, 1962, s. 181.
5. Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. Díl I, listopad 1917 — srpen 1922. Praha, 1975, dok. č. 356, s. 436—437.
6. Poslanecká sněmovna Národní shromáždění FCS. První volební období. 3. zasedání č. 2498, 2505.
7. Archiv Národního muzea (ANM), pozůstalost A. Hajna.
8. Z protokolů 4. československé vlády (J. Cerného). 15. září 1930—26. září 1921. Edice vybraných pasáží. Připravila R. Machatková. Praha. Edice dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze. Praha, 1982, dok. č. 38, 146.
9. Masaryk T. G. Cesta demokracie. Soubor projevů za republiky. Svazek druhý. 1921—1923. Praha, 1934, s. 56—57.
10. AFMZV, Telegramy odeslané 1921, telegram V. Girsy ze 7 IX 1921.
11. Русские в Праге. 1918—1928 гг. Редактор-издатель С. П. Постникова. Прага, 1928.
12. Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci. Praha, 1924.
13. Уралов М. Очерки студенческой жизни в Константинополе. Юбилейный сборник 1921. Брно, 1931. Jubilejní sborník Svazu ruských studentů, Brno.
14. ANS, zahraniční výbor, I, kart. 119, č. 27.
15. Prager Presse, 1921, 7 XII, č. 253.
16. Памяти Т. Г. Масарика. Объединение русских эмигрантских организаций в ЧСР (без выходных данных).
17. Ročenka Československé republiky. Redigoval A. Hajn. Praha, sv. I—XII.
18. Volkman H.-E. Russische Emigration in Deutschland 1919—1929. Würzburg, 1966.
19. AFMZV, IV. sekce, kart. 257, čj. 165148/8.
20. Belogvardějec. Rusko v exilu. Praha, 1936.
21. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Прага, 1942.
22. Slovanský přehled, 1926.
23. Kramář K. Obrana slovanské politiky. Praha, 1926, s. 107.
24. Archiv Národního shromáždění, Praha, f. Rozpočtový výbor II.
25. AFMZV, Kabinet ministra.
26. Sládek Z. Čeští textilní průmyslníci a Československá národní demokracie.— Z dějin textilu. Studie a materiály, sv. II. Ústí n/o, 1979, s. 183—191.
27. Böss O. Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1960.
28. ANM, pozůstalost K. Kramáře.
29. Erenburg I. Lidé, roku, život. Kn. druhá. Praha, 1963, s. 219.
30. Rudé právo, 1935, 26 I.
31. Мейснер Д. Миражи и действительность. Записки эмигранта. М., 1966.
32. Svatoš J. O ruské emigraci v Československu.— Národní osvobození (Praha), 1935, 10 XII, č. 289.
33. AFMZV, Telegramy došle 1936, č. 432, 433/36.
34. AFMZV, Trezorové spisy, II/2.
35. AFMZV, PZ Bělehrad 1937, č. 58, správa z 11 VI 1937.
36. Proces s protisovětským pravičnicko-trockistickým blokom roku 1938. Bratislava, 1952, s. 157—158.
37. Zahraniční politika.
38. AFMZV, PZ Varšava 1935, Zpráva z 21 XII 1935.
39. Lidové noviny, 1936, 6 V.



СЕМЕНОВ К. Н.

РЕЖИМ БЗНС—ФОРМА СОЦИАЛ-МАКСИМАЛИЗМА? К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Преимущественно авторитарная специфика политического развития Болгарии в конце XIX — начале XX в. во многом обуславливала характер и политический потенциал движений, использовавших социально-классовый критерий партийного строительства. Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС) и Болгарская рабочая социал-демократическая партия (особенно «тесняки») возникли как движения, противоположные болгарскому либерализму. Наибольшую остроту это противостояние приобрело в 1920-е годы. К этому моменту движения земледельцев и «тесных» социалистов переживали радикализацию позиций под влиянием революции 1917 г. в России и складывавшейся революционной ситуации в Болгарии. Вместе с тем приобщение к власти способствовало трансформации идеологии и политической практики БЗНС [1, с. 67].

Для максимализма в новый и новейший период истории характерна гиперболизация одной из сторон социальной действительности. Социал-максимализм, как тип политического мышления и действия, предусматривает максималистское¹ разрешение изолированных им социальных проблем отдельно взятого класса путем прерывания органического (капиталистического) социально-экономического развития и построения принципиально новой общественной системы «социальной справедливости» средствами партийной диктатуры, осуществляемой от имени этого класса. Ярким воплощением социального максимализма является коммунистическая идеология. Политическая программа коммунистов (например, БКП) предусматривала установление диктатуры одного класса; организационной основой этой формы власти должны были стать «советы», ликвидировавшие разделение законодательной, исполнительной и судебной власти и явившиеся проводником политики крайне централизованной государственной власти. Последняя была призвана экспроприировать и обобществить средства производства, организовать тотальный государственный «рабочий контроль» над общественным производством и внеэкономическим распределением производимых благ.

Политика и идеология БЗНС не раз становилась объектом внимания специалистов. Однако критика идеологической концепции и политической линии БЗНС в значительной степени велась с точки зрения их несоответствия марксизму-ленинизму. Утвердившаяся среди советских и болгарских исследователей характеристика БЗНС как движения «мелко-

Семенов Константин Николаевич — младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Под максимализмом в данном случае мы понимаем выбор крайних средств и путей, в том числе революционных (насильственных), разрешения социальных проблем. Максимализм основан на перенесении предполагаемой конечной цели общественного развития в непосредственную практику, при этом преувеличивается возможность преобразования действительности, воспринимаемой неадекватно.

буржуазного демократизма» стала настолько традиционной, что не позволяла авторам шире взглянуть на предмет даже при обращении к фактам, противоречащим этой характеристике. Хотя в последние годы в работах советских [2; 3; 4], а также болгарских [1; 5] ученых видны элементы новых подходов к оценке БЗНС, но и в них анализ не выходит за традиционные рамки или недостаточно внимания уделяется идеологической и политической эволюции земледельческого движения в 20-е годы.

Созданный в 1899 г. как «сословно-экономическая организация политического характера» [6, с. 337], БЗНС по результатам выборов 1913 и 1914 гг. превратился во вторую по влиянию политическую силу в стране. В 1919 г. БЗНС стал основной правительственной партией, а его лидер А. Стамболийский занял пост премьер-министра. Почти пять лет социально-политическая жизнь страны определялась попытками БЗНС реформировать болгарское общество в соответствии со своей идеологией, наибольший вклад в разработку которой внес Стамболийский.

После провозглашения Тырновской конституцией принципов парламентаризма, основных гражданских прав и свобод первостепенное значение, согласно теории одного из вождей земледельцев Д. Драгиева, приобрела борьба за «сословно-экономические интересы». Партии, члены которых принадлежали к сословиям с противоположными интересами, не отвечали, по Драгиеву, потребностям политического развития в условиях этой борьбы (см. [7, с. 55]). Поэтому БЗНС сформировался как партия нового — по сравнению с так называемыми буржуазными партиями — типа, в основу идеологии и организации которой была положена классовая идея. Среди главных задач БЗНС Стамболийский называл «политическое объединение и воспитание» крестьянского сословия, т. е. развитие у крестьян «классового сознания» [7, с. 60]. Максималистски оценивая действительность, Стамболийский непримиримо противопоставлял интересы одного класса-сословия интересам других, что исключало возможность социального примирения в обществе. Последнее Стамболийский связывал с социальной справедливостью, т. е. с «равномерным распределением благ», но путь к этому лежал через столкновение «настоящих боевых сословных общественных армий» [8, с. 331—332].

Как и марксизму, сословной идеологии свойственно подчеркивание мессиянской роли класса-сословия; именно с ним сопрягалась идея о создании новой общественной системы. Стамболийский констатировал физическое и моральное превосходство крестьянства над всеми социальными слоями, характеризуя его как «сословие, сохраняющее в себе все свойственные нации добродетели», как «самый жизнеспособный слой» болгарского общества, который является «основой государства» [9, с. 1192]. Социальная исключительность крестьянства подтверждала, по мнению лидера БЗНС, его мессиянскую роль в преобразовании общества. Единственным «носителем стремлений и идеалов» этого сословия и представителем его интересов являлся, по мнению Стамболийского, лишь БЗНС, учение которого призвано изменить соотношение между слоем, составляющим большинство, и всеми остальными, чтобы ликвидировать «экономическое рабство и несправие» крестьян [9, с. 1191]. При этом речь шла не только о завоевании политических и экономических прав, позволяющих крестьянству занять равное место в общественной системе. Из ряда работ социал-дарвинистов, опубликованных в начале XX в., Стамболийский заимствовал идеи противопоставления села городу. Село и город характеризовались им как два антагонистических начала, причем город однозначно изображался в качестве деструктивного фактора для будущего развития общества (см. [4, с. 234—235]).

«Крайним» идеологиям свойственно упрощение представлений о действительности. Нарочито упрощенное и в то же время конкретное определение врагов — характерный сюжет для социал-максимализма. Исходя из того, что бытие сословия определяет его сознание, и утверждая исключительность одного сословия, Стамболийский делал вывод о том, что остальные сословия являются «кровными врагами» крестьян (за исключением сословий, занятых производительным трудом — ремесленников

и индустриальных рабочих). В «четырнадцатом принципе БЗНС» сословными врагами крестьянства называются адвокаты, врачи, инженеры, аптекари, чиновники, торговцы, не говоря уже о промышленниках и банкирах. Особую ненависть Стамболийского вызывала «разлагающаяся в роскоши и разврате» интеллигенция, на которую возлагалась ответственность «за все грехи» [7, с. 226, 231, 259]. В период правления режима БЗНС часто организовывались демонстрации под лозунгом «Долой интеллигенцию!».

Открыто провозглашалась сословно-классовая борьба большинства против меньшинства. В 1921 г. Стамболийский заявил, что власть земледельцев «вводит новый порядок... чтобы заставить каждого знать свое место» [7, с. 261]. Он призывал своих сторонников «не смущаться никаким страхом», если в межсословной борьбе «будут попораны общенародные, общечеловеческие идеалы» [7, с. 56].

Как верно отметил Г. Ф. Матвеев, критерий правильности идей у Стамболийского чисто арифметический: «Более истинными он считал те идеи, которые затрагивают интересы большей части народа» [4, с. 246]. Демократизм для Стамболийского не являлся системой незыблемых принципов. Демократия для него — политика, проводимая от имени и во имя классового большинства. БЗНС не мог не являться «истинным выразителем демократии в Болгарии», поскольку, по Стамболийскому, представлял интересы самого многочисленного сословия [7, с. 221]. Арифметическое большинство для Стамболийского — априори принцип демократизма. Демократия же для него — это «народовластие», противопоставляемое власти буржуазии (промышленного, торгового, «бюрократического» сословий) и интеллигенции и «безвластию или анархии» коммунистов [10 с. 15]. Народ для «земледельцев» — это прежде всего крестьянство, поэтому «народовластие» есть власть крестьянства, т. е. власть класса-сословия. Демократия и власть для Стамболийского, таким образом, — понятия классовые.

До прихода к власти и на первом этапе правления БЗНС Стамболийский выступал поборником демократического парламентаризма. Но уже в конце 1919 — начале 1920 г. в политике партии проявилось стремление к установлению однопартийного режима. Идеологические принципы Союза и сотрудничество проводимой политике со стороны оппонентов неминуемо вели партию к диктатуре. Под «торжеством демократизма» Стамболийский понимал не только изменение формы власти — провозглашение демократии и республики, но и изменение содержания этой власти. Для уяснения целей режима БЗНС важно знать взгляды Стамболийского на власть.

Под влиянием социального дарвинизма Стамболийский воспринял идею неуничтожимости в «культурном человеке» «человека-зверя» (см. [4, с. 236—237]). Считая неподдающимися культурному воздействию инстинкты «животной природы» человека, исходя из его «природной греховности», Стамболийский полагал, что «высшее предназначение принудительной силы — власти» есть «обуздание звериного в человеке». Поэтому «страх перед властью — основа политико-общественного порядка» [10, с. 15]. Власть для Стамболийского — это страх и борьба большинства с меньшинством, и в средствах борьбы не стоит себя ограничивать, ибо это оправдано «высшим инстинктом любого народа к самосохранению» в ходе межсословной борьбы [7, с. 221]. Как бы подтверждая обвинения во властолюбии в адрес руководства БЗНС со стороны современников, Стамболийский писал: «Стремление человека к власти есть стремление к самосовершенствованию, стремление к проявлению жизни, воли... Стремление к власти есть стремление к борьбе за жизнь; это основной закон прогресса человечества» [10, с. 16]. Политика для Стамболийского — оружие в борьбе за сословные экономические интересы. Политика же партий, построенных не по сословному принципу, находящихся «в руках людей из разных сословий», есть «беспринципная» борьба за личные интересы [7, с. 59].

Стамболийский различал понятия «класс» и «сословие». Классовая ор-

ганизация общества характерна для периода борьбы за утверждение парламентского строя и представляет собой на первом этапе разделение на два класса — аристократию и остальных. На втором этапе остальные — «народная общественная организация» — распадаются на богатых, среднеимущих и малоимущих. После утверждения парламентаризма происходит замена классовой организации общества сословной, и партии, построенные не по сословному признаку, по мнению Стамболийского, должны исчезнуть. Этого не происходит лишь благодаря инстинкту самосохранения, который делает целью этих партий личное и партийное обогащение [8, с. 202—203, 218—219]. В условиях нового сословного деления общества, когда более конкретно обозначаются различные слои — крестьяне, ремесленники, рабочие, промышленники, торговцы, бюрократы, — борьба внутри него обостряется в основном между трудящимися и эксплуататорскими сословиями. Отсюда стремление создать узкосословную организацию, что отражено во «втором принципе БЗНС», подчеркивающим невозможность членства в Союзе «людей из других сословий с противоположными крестьянским интересам и мышлением», указывающем, что «интеллигенция Союза — лишь та, которая происходит из крестьянского сословия или имеет непосредственные связи с ним»; притом отмечалось, что регулярное нарушение этого принципа «угрожает самому существованию Союза» [7, с. 220]. Узкосословный характер идеологии и организации вел к складыванию непримиримых отношений БЗНС с другими политическими силами.

Намеченная руководством БЗНС политика поставила задачу реализации политических и экономических интересов крестьянства, что должно было поднять на очень высокую ступень социальный статус крестьян, а также обеспечить им защиту в отношениях с промышленным, финансовым и торговым капиталом. И действительно, ограничение крупного капитала, попытки увеличения веса государственного сектора, покровительственная политика в отношении кооперативного производства, предпринятые усилия по социальному благоустройству — все это имело свои положительные стороны и конкретные результаты. На это обращали внимание и современники — оппоненты БЗНС, указывая в то же время на недопустимость многих мер, на неверные, идеологизированные пути решения справедливо ставившихся задач.

Сформировав в сентябре 1919 г. коалиционное правительство, БЗНС получил возможность реализовывать свою программу. Кроме закона о Консорциуме — государственно-кооперативной монополии, сужавшей возможности частного торгового капитала, был принят закон, направленный на перераспределение жилищного фонда и решение жилищной проблемы максималистскими методами. Согласно этому закону, жилищные комиссии наделялись правом отчуждать в пользу государства частные здания, закрывать «общественно вредные заведения», выселять «анти-социальные элементы» [11, с. 915—918].

Были приняты дополнения к закону о просвещении, которые можно охарактеризовать как попытку борьбы с инакомыслием. Предусматривалось увольнение учителей, выступавших против государственного строя и участвовавших в демонстрациях и стачках, направленных против властей [11, с. 1338—1339, 1097—1140].

Правительство Стамболийского не спешило отменять существовавшие военные положения, цензуру, ограничения на свободу собраний и манифестаций. Причиной было стремление «ограничить противодействие правой и левой оппозиции» [5, с. 103]. К тому же после принятия закона об обязательном голосовании БЗНС 25 января 1920 г. добился крупного успеха на выборах в общинные и окружные советы. Желая обеспечить абсолютную гарантию победы, накануне выборов правительство конфисковало государственные склады в Софии для раздачи дорогих промышленных товаров в провинции [5, с. 85; 6, с. 221; 12, с. 761]. Вдохновленный успехом, Стамболийский распустил парламент, причем в указе царя о санкционировании этого акта не стояла дата, как того требовала Конституция. Стамболийский посчитал момент подходящим, чтобы взять полно-

ту власти в свои руки. Не получив все же необходимого для формирования однопартийного кабинета количества парламентских мест, БЗНС прибег к незаконному объявлению недействительными 13 депутатских мандатов от оппозиции. Для овладения местной властью режим нередко распускал общинные советы и заменял их особыми комиссиями — «трехчленками». Непарламентские средства восхождения к власти вызвали беспрецедентно единодушное неприятие нового режима всей оппозицией, от коммунистов до либералов.

В 1920—1921 гг. земледельческое правительство провело в жизнь ряд нововведений, идеологической основой которых была сословная теория. Закон о всеобщей трудовой повинности объявлял обязательным общественно полезный труд для всех совершеннолетних трудоспособных граждан. Целью нововведения являлось использование «общественной» (бесплатной) рабочей силы для государственных и общественных нужд (строительство зданий и прокладка путей сообщения) и «культивирование социального чувства» («любовь к общественным работам и физическому труду», «развитие сознания обязательств по отношению к обществу») у гражданина независимо от его общественного и имущественного положения [13, кн. 1, с. 110—112]. Несмотря на осязаемые конкретные результаты, эта мера правительства являлась внеэкономической, неподкрепленной финансово, не предусматривала эффективное использование квалификации и образования привлеченных. Внеэкономический характер повинности вызвал необходимость принятия целого ряда репрессивных мер за уклонение от нее. В городах привлеченных к трудовой повинности называли даже «пленниками Стамболийского» [5, с. 105].

Финансовая реформа была направлена на ограничение и всемерное препятствие развитию капиталистического предпринимательства, а также поддержку кооперативного производства путем установления дифференцированного прогрессивно-подходящего налога: для кооперативов — 18—23%, для остальных — до 35% [9, с. 809]. При проведении реформы финансовые органы приписывали крестьянам несуществующее имущество, увеличивая реальный налог, что вызывало недовольство. «Сельские массы не поняли и не приняли эту реформу, — пишет болгарский исследователь Д. Петрова, — она была непопулярна на селе» [5, с. 112]. Таким же непопулярным являлся и обязательный государственный займ.

Экономический кризис общеевропейского масштаба негативно сказывался на экономике Болгарии. Война в Европе и обострение социально-экономической ситуации в стране в 1918 г. в значительной степени способствовали дестабилизации хозяйственной жизни. Однако не следует игнорировать и тот факт, что экономику страны подрывала некомпетентная и идеологизированная экономическая политика режима БЗНС. «Манипуляции властей» в сфере экономики, направленные против всякого рода капиталов, «ослабили политический, финансовый и хозяйственный авторитет страны за границей и сильно обесценили болгарский лев», — писал современник событий Н. Д. Смилов. «Поход власти против собственности» тормозил хозяйственную предприимчивость местного и иностранного капитала, вызывал «вымывание денег с рынка и их сокрытие» [14, с. 88]. Сокращались вложения в банки. Торговый и промышленный капитал вследствие падения курса лева прибегал к закупке иностранной валюты, а валютные кредиты, в том числе Болгарского народного банка (БНБ), все более ограничивались, иностранные вложения изымались владельцами. В результате рынок еще более сужался, а фискальная политика режима тормозила развитие акционерного дела. Все это вызывало эмиссию денег и инфляцию. Правительство страны стало прибегать к займам в БНБ «без указания срока и гарантий возвращения» [14, с. 89]. Банковский оборот сокращался, прекратилась торговля ценными бумагами. В торговле и промышленности наблюдался застой. Все это неизбежно вело к росту цен. В 1922 г. по сравнению с 1919 (когда цены относительно 1918 г. выросли в три раза) продовольственные товары и одежда подорожали в два раза, коммунальные услуги — в полтора раза, сильно поднялась стоимость фуража, постоянно дорожал хлеб [15, с. 395; 16, с. 208—210].

Экономические трудности и односторонняя социальная политика правительства вызвали рост числа стачек. Если в «революционном» 1919 г. было 135 стачек, в которых участвовали 76 310 человек, а в 1920 — соответственно 68 и 6 534, в 1921 — 68 и 3 115, то уже в 1922 г. — 365 и 21 685 [17, 1924, 25 I].

Аграрная реформа выразилась в законе об увеличении фонда государственных земель за счет конфискации 10—50% земли у ее крупных владельцев с вы платой компенсации и в законе о трудовой поземельной собственности, имевших целью наделить землей безземельных и малоземельных, специалистов по земледелию, сельских рабочих и беженцев. В результате противодействия оппозиции и землевладельцев, а в большей степени непродуманности и некомпетентности действий административных органов цель не была достигнута. «Осенью 1921 г. — пишет Д. Петрова, — часть бывших крупных землевладений запустела, а исполщики остались без посевов» [5, с. 116]. К 1923 г. лишь малая часть нуждавшихся получила землю. Обращает на себя внимание утопизм стремления БЗНС наделить землей всех трудящихся в сельской местности за счет раздробления крупных и средних хозяйств (процент которых был невелик), в большей мере отвечавшего идеологическим соображениям, нежели экономической целесообразности. По мнению Д. Петровой, БЗНС надеялся сформировать многочисленную и одинаковую в имущественном отношении категорию собственников как опору режиму [5, с. 223].

Судебная реформа земледельцев ликвидировала институт адвокатуры, ибо адвокаты рассматривались как «пособники буржуазных партий» [13, кн. 2, с. 1624]. Следуя принципу «народного... быстрого и истинного правосудия» [7, с. 224], режим упростил процесс судопроизводства и ликвидировал институт обжалования [17, 1920, 6 VIII].

Революционное вмешательство режима БЗНС в сферы производства и распределения сделало необходимым возложение на местные партийные организации осуществления мероприятий центральной власти. Наряду с законной властью создавалась параллельная власть аппарата БЗНС, смешивались государственные, административные и партийные функции. Некомпетентность большинства партийных деятелей отрицательно сказывалась как на эффективности внутренней политики, так и на авторитете власти. Уже в 1920 г. социалист П. Джидров писал, что у земледельческого правительства нет «ясного представления о фактическом положении дел в Болгарии» [18, 1920, 15 XII]. Всевластие центрального и местного аппарата привело к росту коррупции, злоупотреблений, расхищению государственного, общинного и кооперативного имущества². Практикой стали доносы и шпионство в школах [19]. Наряду с этим современники отмечали «постепенное создание культа вождя»: славословия в адрес Стамболийского, превращение его родного села в «место поклонения» [12, с. 767], распространение материалов о его жизни и деятельности, значок с его изображением.

Дестабилизировавшая ситуацию в стране политика БЗНС все больше вызвала недовольство. Правительственный закон о народном просвещении, по существу, отстранявший преподавателей — членов оппозиционных партий от работы, и новый университетский устав означали нарушение автономии университета. Узкоклассовый характер правящего режима способствовал быстрому сплочению широких кругов интеллигенции: в Гражданский комитет в поддержку автономии университета вошли союзы адвокатов, врачей, ученых, писателей и художников, учителей, Академия наук. С марта по август 1922 г. длилась стачка в университете, направленная против увеличения правительством оплаты за обучение и со-

² Например, в мае 1925 г. было возбуждено дело против бывших министра обороны К. Муравиева и министра общественной безопасности С. Стефанова, обвиненных в растрате на личные нужды 4 млн швейцарских франков, отпущенных на расходы по выполнению Нейского договора [12, с. 768]. БКП, судя по газетной информации, обвинила Стамболийского в присвоении в марте 1923 г. 120 млн левов [19]. В шифрованной телеграмме Х. Калфова в посольство в Бухаресте говорилось о присвоении бежавшим после переворота 9 июня 1923 г. в Румынию А. Оббовым 260 тыс. левов 20, л. 1].

кращения университетского бюджета, превратившаяся на деле в акцию массового неповиновения режиму БЗНС. Стачка завершилась полной победой. Университетский кризис показал неприятие властей в широких кругах интеллигенции.

Режим Стамболийского все чаще прибегал к открытому террору. В Софии обычными стали ночные обыски домов и квартир тайной полицией и «оранжевой гвардией» — вооруженными отрядами БЗНС [12, с. 778]. С октября 1921 г. по май 1923 г. численность жандармерии увеличилась с 2 до 8,5 тыс. человек [21, р. 132]. Нередкими со стороны «оранжевогвардейцев» являлись случаи разграбления и поджогов домов и магазинов [22, с. 16]. В Софии было совершено несколько политических убийств, жертвами которых неизменно становились видные оппозиционеры. Убийцы не были найдены. Болгарский историк В. Георгиев, отмечая, что причастность властей к этому не доказана, в то же время не оставляет сомнений, кому это было выгодно [23, с. 171]. Современник событий П. Пешев прямо писал об организаторе этих акций — софийском градоначальнике А. Прудкине, действовавшем с ведома министра внутренних дел Ал. Димитрова и самого Стамболийского [12, с. 778].

Продолжался курс на изменение государственного строя. Руководством БЗНС утверждалось положение о первенствующей по отношению к парламенту и правительству роли Союза и об ответственности правительства не перед Народным собранием, а перед съездом БЗНС. В мае 1922 г. в решениях XVII съезда БЗНС было закреплено положение о том, что премьер-министр должен отчитываться о своей деятельности не перед Народным собранием, а перед съездом Земледельческого союза; только в прерогативы съезда входил вопрос об отставке правительства и выдаче мандата на очередной срок правления [24, 10 X]. По свидетельству одного из основателей Молодежного земледельческого союза, М. Геновского, в 1922 г. Стамболийский заявлял, что «сегодня в Болгарии одно Народное собрание, называемое... Земледельческий народный союз» [25, с. 144]. На XVII съезде Стамболийский провозгласил открытие «кровавого фронта» против буржуазной оппозиции и Внутренней македонской революционной организации, высказался за «примирение с трудящимися» и за будущее совместное управление «рабочего народа — городского и сельского» [24, 9 VI]. Если в 1921 г. в резолюции XVI съезда Союза говорилось о возможности введения «крестьянской диктатуры» (см. [25, с. 136]), то на XVII съезде Стамболийскому уже был предоставлен мандат на введение в случае необходимости диктатуры. Однако в статье «Диктатура ли?» он вопреки призывам левых в БЗНС отказался от ее немедленного объявления [24, 30 VII].

Одновременно был создан Комитет за крестьянскую диктатуру, непосредственно связанный с Постоянным присутствием (ПП) БЗНС (члены руководства комитета Ст. Калычев — один из заместителей редактора газеты «Земледельское знамя» Стамболийского — и Д. Кемалов входили в это Постоянное присутствие [26, с. 421]) и пользовавшийся поддержкой Р. Даскалова, Ал. Димитрова, Ц. Бакалова, Н. Атанасова [5, с. 239; 25, с. 146]. Вокруг комитета консолидировались наиболее максималистски настроенные силы Союза, склонные к сотрудничеству с БКП, а его орган «Победа» стал вторым официозом в стране [5, с. 239]. Если верить одному из руководителей тогдашней БКП, В. Коларову, в резолюции Партийного совета БКП о «техническом сотрудничестве» с БЗНС предусматривалось совместное вооруженное противодействие любой попытке переворота со стороны буржуазии, так как «направленный против земледельческого правительства, он угрожает непосредственно и коммунистической партии» [27, с. 159]. Создается впечатление, что с весны 1922 г. ситуация в Болгарии характеризовалась движением обеих крупнейших политических сил в одном направлении — к диктатуре, т. е. к изменению государственного строя.

Накануне парламентских выборов весной 1923 г. режим сделал еще один шаг к ликвидации парламентской системы — пропорциональная избирательная система была заменена мажоритарной. При голосовании

в парламенте по этому вопросу даже некоторые депутаты-земледельцы высказались против. Весьма сдержанно к изменению избирательной системы отнеслось руководство БЗНС на местах [25, с. 187]. Стамболийский, в сущности, был согласен с возражениями оппозиции. Как свидетельствует его сподвижник Ал. Оббов в книге «Из моих воспоминаний», Стамболийскому принадлежит такая фраза по поводу изменения избирательного закона: «История когда-нибудь простит мне этот грех» (цит. по [5, с. 375]). Однако Стамболийский, по мнению Д. Петровой, «не видел другого способа для победы Союза на выборах» [5, с. 375]. Фальсификации, грубые нарушения конституционных норм (нападения на партийные клубы, аресты кандидатов в депутаты и агитаторов, нарушение права на тайну голосования), карательные экспедиции против целых сел — в такой обстановке прошли выборы в апреле 1923 г., принесшие победу БЗНС [27, с. 256; 22, с. 7].

Новый правящий кабинет, очищенный от правых (в феврале 1923 г. К. Томов, М. Турлаков и Хр. Манолов, как противники реформ, были выведены из руководства), намеревался принять меры по дальнейшему укреплению сословного режима. Согласно данным, едва ли не впервые введенным в научный оборот Д. Петровой, предусматривалось три этапа «ликвидации экономической базы буржуазии». На первом этапе (до конца 1923 г.) — национализация банков и установление государственного контроля над иностранными банками, национализация страховых компаний; государственная монополия на покупку и экспорт табака. На втором этапе (1924) — национализация сельскохозяйственных машин и их распределение среди крестьянских кооперативов, контроль над экспортом — импортом сельскохозяйственной продукции; превращение трудовой повинности в основу развития общественного сектора в экономике. На третьем этапе предусматривалась полная национализация средств производства. Публикации в газетах «Земледельско знаме» и «Победа» весной 1923 г. подтверждают такую ориентацию правительства [5, с. 382—383]. В мае 1923 г. Стамболийский говорил о необходимости насильственной передачи капиталов и капиталистических предприятий в руки «скооперированного народа» и изменении «капиталистического частного строя» [28, с. 414—415]. Таким образом, руководство БЗНС предусматривало обобществление средств производства в промышленной и финансовой сферах, а, судя по воспоминаниям М. Геновского, Стамболийский предполагал «постепенное движение к общественным формам и в сельском хозяйстве» [25, с. 160]. Намечались и политические преобразования — принятие новой конституции, имевшей антикапиталистическую и антимоноархическую направленность [5, с. 386]. Интересный штрих для характеристики предполагавшейся конституции дает свидетельство М. Геновского о том, что в ее разработке должен был принять активное участие председатель Комитета за крестьянскую диктатуру Кр. Попов [25, с. 176]. Программа-максимум режима была очерчена Стамболийским в речи в мае 1923 г., в которой он заявил, что БЗНС будет один осуществлять власть в течение 20 лет, после чего к власти придет «народный союз» трудовых сословных организаций, поскольку к этому времени, по его мнению, рабочие и ремесленники также станут способны приобщиться к власти в государстве (см. [29, с. 50]).

В мае 1923 г. обстановка в стране обострилась. Осознав невозможность борьбы легальными средствами, наиболее решительно настроенные силы оппозиции конспиративно перешли к подготовке переворота. Понимая неизбежность столкновения, режим Стамболийского готовился к упреждающему удару. По стране прошли манифестации «оранжевой гвардии» и «народной гвардии», носившие угрожающий характер. Был закрыт ряд оппозиционных газет, по Софии прокатилась волна арестов. Эти меры, а также содержание речи Стамболийского в селе Хасково, по мнению М. Геновского, свидетельствовали о том, что правительство и ПП БЗНС взяли курс на установление диктатуры. «Не случайно в это время, — пишет М. Геновский, — в земледельческой прессе открыто заговорили о диктатуре» [25, с. 237—238]. Приказом № 426 ПП БЗНС, опубликованным в газете «Земледельско знаме» 25 апреля 1923 г., по всей стране организо-

ывались боевые отряды партийных ячеек Союза [25, с. 187]. На 13 мая 1923 г. намечались смотр сформированных отрядов и отчеты «начальников» «народной гвардии» при участии местных земледельческих властей. Был распространен циркуляр № 14 ПП БЗНС [30], содержащий план создания «стройной воензированной организации» внутри Союза, которая должна была охватить около двух третей его членов, что, по мнению М. Геновского, «означало... превращение БЗНС в боевую организацию с военной структурой» [25, с. 197]. В соответствии с требованиями циркуляра по всей стране организовывались собрания, на которых принимались клятвы любыми средствами защитить режим. В полную боевую готовность приводились воензированные подразделения БЗНС, в циркуляре говорилось о необходимости обеспечения их надежной связью с селами для поднятия по возможной тревоге добровольцев [22, с. 43].

Однако Народный съезд, в деятельности которого принимали участие представители всех оппозиционных (кроме БКП) партий, и Военный союз, на котором лежала «техническая сторона» переворота, опередили готовившуюся режимом акцию. Правительство Стамболийского было свергнуто 9 июня 1923 г. Некоторые профсоюзы — телеграфистов-почтовиков, железнодорожников, учителей — приняли активное участие в перевороте [17, 1924, 8 VIII]. Рабочие массы держались нейтрально, хотя полностью сочувствовали перевороту [31]. На заседании Партийного совета БКП 1—6 июля 1923 г. говорилось, что «отсутствие массового и решительного сопротивления перевороту» со стороны рабочих и крестьян объясняется тем, что правительство «своей реакционной политикой ополчилось против себя широкие массы» [27, с. 264]. Один из лидеров социалистов, Я. Сакизов, писал, что заговорщики «нашли благодатную для заговора атмосферу... Сведения не оставляют никакого сомнения в том, что народ был готов к этому» [32]. Лишь в некоторых районах страны земледельцам удалось поднять крестьян на вооруженное сопротивление.

К началу 20-х годов в условиях политического и экономического кризиса и краха возможности реализации идей национального объединения болгарское общество переживало подъем политической активности, в основе которого лежал процесс актуализации социального сознания. В свою очередь, актуализация социального сознания вследствие обострения социальных проблем неизбежно увеличила политический вес партий, идеологией которых была классовая идея, представляющая собой своего рода «теорию политического опекунства» [33], когда партия монополизует право представлять интересы одного класса, абсолютизируя их и непримиримо противопоставляя интересам остальных социальных слоев. Поставленная БЗНС цель — построение общества «социальной справедливости» — осуществлялась не реформистским путем достижения социального консенсуса, а через обострение борьбы между сословиями.

Характер внутренней политики режима БЗНС был определен сословной идеологией Союза. Констатируемая в идеологии неизбежность сословно-классовой борьбы поддерживалась реальной борьбой режима с конституционным строем и его экономическими основами. Поскольку существовавшая (капиталистическая) организация труда отрицалась в принципе, ставилась задача построения нового общества, основанного на общественной и «кооперативной» собственности на средства производства в индустриальной и финансовой сферах, мелкой частной и кооперативной собственности в сельском хозяйстве. Предусматривалась идеологизация системы образования и судопроизводства в соответствии с сословно-классовой идеей в интересах одного сословия. Поскольку для создания новой организации труда нужно было разрушить старую, режим вел борьбу против промышленного и финансового капитала, пытаясь прервать процесс капитализации. Американский историк Дж. Белл верно замечает, что «в отличие от мелкобуржуазных экономических теоретиков Стамболийский не верил в абсолютные права частной собственности и в свободные экономические принципы» [34]. Реформы БЗНС не были экономически обоснованными; экономическая политика режима вела к снижению эффективности производства, росту цен и стачкам.

Попытки установления экономической диктатуры в интересах одного класса (по терминологии Стамболийского «сословия») неизбежно вели к установлению политической диктатуры, обеспечивавшей господство партии, которая монополизировала право представлять интересы этого класса. Нельзя, на мой взгляд, говорить о «демократизме» режима, который за пять лет пребывания у власти не отменил военное положение, цензуру, ограничения на свободу собраний и манифестаций (делая, разумеется, исключение для правящей партии). Более того, введение мажоритарной системы выборов и закон об обязательном голосовании, попытки полного подчинения парламента БЗНС и замены органов местного самоуправления партийными органами свидетельствовали о сознательном разрушении режимом конституционно-парламентарного строя с целью захвата всех структур власти. Неслучайно в апреле 1923 г. на заседании Партийного совета БКП говорилось, что режим БЗНС уничтожил «два краеугольных камня буржуазной демократии и парламентаризма: общинное самоуправление и пропорциональную систему выборов и посягнул на право тайных выборов» [27, с. 256]. Политика, направленная на «децентрализацию», являлась отнюдь не демократизацией, а попытками передать всю власть на местах партийным органам Союза, компетенцию монарха и парламента заменить властью ПП БЗНС. Смещение правящим режимом БЗНС государственных, административных и партийных функций, «обновление» процесса судопроизводства сродни программному положению БКП о соединении функций законодательной, исполнительной и судебной власти [27, с. 7]. Антиконтитуционные средства БЗНС подтверждают взятый режимом курс на установление диктатуры в стране.

Таким образом, на наш взгляд, представляется возможным поставить под сомнение тезис о «мелкобуржуазном демократизме» сословной теории Стамболийского и режима БЗНС. Реформизм правительства Стамболийского носил не либеральный, а революционный максималистский характер, во многом родственен социальному утопизму. Режим БЗНС (1919—1923) явился проявлением социал-максимализма с тенденцией к установлению партийной диктатуры в политике и экономике от имени одного класса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев К. Философско-социологические взгляды на Ал. Стамболийски. — В кн.: Александр Стамболийски. Живот, дело, заветы. Приветствия, доклады и сообщения, изнесени на Международната научна конференция по случай 100 години от рождението на Александр Стамболийски. София, 6 и 7 юни 1979 г. София, 1980.
2. Гришина Р. П. Возникновение фашизма в Болгарии, 1919—1925 гг. София, 1976.
3. Маковецкая Т. Ф. Политический кризис и эволюция механизма власти после первой мировой войны (вторая половина 1918 г. — начало 1920 г.). — В кн.: Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917—1929 гг. М., 1988; Маковецкая Т. Ф. Трансформация политической системы Болгарии в условиях режима БЗНС (май 1920 г. — июнь 1923 г.). — В кн.: Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1917—1929 гг. М., 1988.
4. Матвеев Г. Ф. О некоторых источниках идеологической концепции А. Стамболийского. — В кн.: Известия на Българското историческо дружество. Кн. XXXIX. София, 1987.
5. Петрова Д. Самостоятелното управление на БЗНС, 1920—1923 гг. София, 1988.
6. Влайков Т. Г. Съч. Т. 5. София, 1930.
7. Стамболийски А. Принципите на Български земеделски народен съюз. — В кн.: Стамболийски А. Избрани произведения. София, 1980.
8. Стамболийски А. Политически партии или съсловни организации? София, 1909.
9. Дневници на XIX ОНС. 1 р. с. София, 1922.
10. Стамболийски А. Власть, безвластие, народовластие. София, 1919.
11. Дневници на XVIII ОНС. 1 р. с., кн. 2. София, 1920.
12. Пешев П. Историческите събития и деятели. София, 1929.
13. Дневници на XIX ОНС. 1 р. с. София, 1920.
14. Списание на Българското икономическо дружество. Кн. 1/2. София, 1922.
15. Статистически годишник на Българското царство, 1912—1922. София, 1924.
16. Статистически годишник на Българското царство, 1923—1924. София, 1924.
17. Държавен вестник.
18. Социалдемократ.
19. Младеж, 1923, 16 VI.
20. Централен държавен исторически архив, ф. 369, оп. 1, а. е. 580.

21. Centre international d'information sur les sources de l'histoire Balkanique et Mediterranee (CIBAL), КМФ 04, инв. № 441/1, Foreign Office 371/10670, p. 132.
22. *Казасов Д.* В тъмнините на заговора. София, 1925.
23. *Георгиев В.* Народният сговор. 1921—1923 гг. София, 1989.
24. Земледелско знаме, 1922.
25. *Геновски М.* Александр Стамболийски: отблизо и отдалеко. Документирани спомени. София, 1982.
26. *Даскалов Р.* Избрани произведения. Т. 1. София, 1986.
27. Българската комунистическа партия в резолюции и решения на конгресите, конференциите и пленумите на ЦК. Т. II. София, 1951.
28. *Стамболийски А.* Реч в село Хасково, произнесена на 13 май 1923 г.— В кн.: Стамболийски А. Избрани произведения. София, 1980.
29. *Христов Хр.* Александр Стамболийски в новата и най-новата история на България.— В кн.: Александр Стамболийски. Живот, дело, завети. Приветствия, доклади и съобщения, изнесени на Международната научна конференция по случай 100 години от рождението на Александр Стамболийски. София, 6 и 7 юни 1979 г. София, 1980.
30. Народна защита, 1923, 15 V.
31. La Federation Balkanique, 1924, № 6, с. 68.
32. Народ, 1923, 22 VI.
33. *Цанков Ал.* Демократия и социализм. Задачи и методи на пролетарската революция. София, 1921, с. 83.
34. *Бел Дж.* Ал. Стамболийски и модернизация на България.— В кн.: Александр Стамболийски. Живот, дело, завети. Приветствия, доклади и съобщения, изнесени на Международната научна конференция по случай 100 години от рождението на Александр Стамболийски. София, 6 и 7 юни 1979 г. София, 1980, с. 516—517.

во и глубокий взаимный интерес к творчеству друг друга), то столь же символичны узы, связывающие этого нобелевского лауреата, изгнанного из Польши, с нобелевским лауреатом, изгнанным из СССР, — Иосифом Бродским. Но это, опять-таки, особая тема.

Теперь, бывая на польской земле, окруженный всеобщим почитанием, он (как, впрочем, и «там») общается очень выборочно: однозначно не приемлет тех людей, организации, издания, которые выражаясь словами его земляка по изгнанию А. И. Солженицына, не смогли жить не по лжи. Поэтому-то весьма показательно, что он согласился дать интервью тогда еще только организуемому (точнее — воссоздаваемому) журналу Института литературных исследований Польской Академии наук [1].

Само название этого журнала «Teksty Drugie» (дословно — «Вторые тексты») указывает на возрождение и продолжение традиции известных и за пределами Польши «Текстов», которые выходили в 1972—1981 гг. В те времена, которые теперь принято называть «застойными», это издание объединяло ученых, противостоявших, говоря словами Милоша, «порабощению разума». В редколлегию вошли крупнейшие литературоведы страны — Я. Блоньский (ставший первым главным редактором), Я. Славиньский (оказавшийся последним главным редактором), Ч. Хэрнас, С. Треугутт, Э. Бальдежан. В атмосфере тотальной идеологизации, осуществляемой на том специфическом языке, который Оруэлл назвал «новоязом», или «новоречью»¹, группирующиеся вокруг журнала интеллектуалы использовали оптику структурализма и семиотики. Это было своего рода койне, которое служило средством не только познания, но и общения, взаимопонимания и взаимодействия ученых разных поколений и разных стран. Естественно, этот остров самостоятельного (а посему — и независимого) мышления вызывал идиосинкразию и у тех, кто решал, как следует думать, и у их послушных и предупредительных исполнителей. Поэтому с введением военного положения издание было незамедлительно прекращено. Запрет был снят с ликвидацией цензуры в 1989 г. Тогда же дирекция Института литературных исследований приняла решение о воссоздании журнала и его финансировании из собственного бюджета.

Новую редколлегию «Текстов» возглавил представитель среднего поколения Р. Ныч (прежний секретарь редакции). Старшее поколение представлено Э. Бальдежаном (известный специалист в области поэтики, теории перевода, истории современной литературы), Т. Бурэком (крупный литературный критик, автор работ об эволюции современного романа) и З. Лапиньским (видный историк литературы XIX—XX вв., автор работ о Норвиде, Гомбровиче и соцреализме²). Возрожденные «Тексты» отражают как преемственность, так и новизну журнала, обусловленную самой обновляемой действительностью Республики Польши. Среда новых «Текстов» стремится создать как бы общее поле коммуникативности путем сопоставления теоретически разных исследовательских позиций, появившихся в последнее время.

Интервью с Чеславом Милошем, — это не стремление «заполучить знаменитость» и сделать себе рекламу. Просто издавна зародившаяся концепция Милоша-художника, длительное время разрабатываемая Милошем-ученым (поистине редкостное сочетание!), органично вписывается в программу журнала, очерченную здесь в силу необходимости предельно сжато и очень суммарно.

¹ Эта тема обрела блестящую разработку в ряде исследований автора «Текстов» проф. М. Гловиньского, опубликованных также и в зарубежных изданиях. В основной журналом серии книг «Библиотека Текстов» вышел его сборник [2].

² Книга З. Лапиньского «Как сосуществовать с соцреализмом» [3] во времена Польской Народной Республики могла появиться только за границей. Соцреализм рассматривается им с позиций не апологета или обличителя, а как некая целостность: эстетика и социология, политика и психология творчества, социотехника и этика. Наиболее ёмко и лапидарно выразил свой замысел сам автор в надписи на врученном мне экземпляре: «...с пожеланием, чтобы такие книги не были больше нужны».



ЛИПАТОВ А. В

ЧЕСЛАВ МИЛОШ В ЖУРНАЛЕ ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

1980 год был польским — по крайней мере для той части мира, которая связана со средиземноморской цивилизацией. Его предвестием было избрание «польского папы», его кульминацией в общественной жизни и политическом сознании — появление «Солидарности», символизируемой именем Леха Валенсы, а в искусстве — присвоение Нобелевской премии Чеславу Милошу.

Поэт, прозаик, профессор-славист, он был широко известен в мире цивилизованном и строго запрещен в мире тоталитарном. Как и его великий предшественник Мицкевич, он — поляк, родившийся в Литве. Подобно ему, духовно связанный с этой своеобразной стороной, где издревле существовали литовцы, белорусы, поляки, евреи, немцы, татары, караймы, позднее — русские, да и представители других народов, он ощущал свою «польскость» не в надменном и кичливом противопоставлении, а в сердечном и естественном взаимопонимании, взаимосочетании, взаимодополнении, взаимодействии, что собственно, и порождало ту жизненную многокрасочность и духовное богатство, благодаря которым появлялось здесь столько неповторимо разнонациональных талантов. Вот почему Милош, как и Мицкевич, будучи глубоко национальным, в то же время близок и понятен в разных концах земли. Вот почему Милош, как и Мицкевич, не смог выдержать атмосферы тотальности и выбрал жизнь на чужбине. Это трудное решение было принято в 1951 г., когда послушные ученики Сталина в Польше уже всюду насаждали новый порядок. Общей нормализации подверглось и искусство, где с 1949 г. со все нарастающей силой раскручивался маховик соцреализма.

Тридцать лет эмигрантского далека. Сперва в Париже, потом — с 1961 г. — в гостеприимном Беркли, штат Калифорния, в качестве профессора славянских языков и литератур местного университета. Теперь, когда все так изменилось, писатель и ученый почти ежегодно бывает на родине. В сущности, он никогда с ней не расставался — не только в душе и мыслях, но и в своем творчестве. Его поэзия, проза, статьи — постоянный диалог с Отчиной, родными местами, прошлым и современностью. Впрочем, это особая тема. Нам еще предстоит ее осознать и раскрыть русскоязычному читателю, который, конечно же, его поймет, ибо польский Милош, Милош литовский, еврейский, французский, англо-американский или немецкий — Милош, переведенный на множество языков, — писатель универсальный: он глубоко человечен и поэтому столь общечеловечно его творчество. А что касается России... Если символична была дружба поэта и заговорщика Мицкевича с заговорщиком Рылеевым (относительно Пушкина — красивый миф — там скорее литературное знакомст-

Липатов Александр Владимирович — д-р филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

С Чеславом Милошем беседует Александр Фют³.

А. Ф. — Мы живем в период сильного землетрясения, когда рушатся прежние иерархии, стираются сложившиеся разделения, происходит падение былых авторитетов. Это в равной степени относится как к явлениям общественно-политическим, так и к литературным. Я хотел бы в этой связи спросить, как в Вашем ощущении изменялись литературные иерархии. Спросить как свидетеля, участника этих перемен и профессора славянских литератур. Мне кажется, что каждая из этих ролей особым образом предопределяет видение отмеченных перемен.

Ч. М. — Мы должны осознать, что польская литература подвергнута чрезмерной периодизации. Ни в какой иной литературе перевороты и землетрясения не происходят каждые десять лет. Если взять польскую литературу, скажем, XX в.: до начала войны, 1914 г., т. е. ее первая дата, потом 1918 г. — возникновение независимой Польши, затем перелом в середине двадцатилетия⁴, экономический кризис — где-то около 1930 г., потом у нас наступает 39 г., 45 г., сталинизация, десталинизация, 56 г., малая стабилизация, 68 г., гданьские события в 70-м, эпоха Герека, «Солидарность», военное положение и т. д. Никакая другая литература не вынесла бы такого раздробления, такого разделения. Все время новая эпоха, да? Так вот, мне кажется, что, наверное, пора уже посмотреть на эту литературу с большей дистанции, поразмыслить, пожалуй, об отдельных именах. Ведь литература — это все-таки писатели. Мы слишком склонны говорить о явлениях, поколениях, «сменах караула» и т. д.

А. Ф. — Ограничиваясь поэзией, начнем с межвоенного двадцатилетия. Какие поэты были для Вас наиболее значительными или же считались всеми как значительные?

Ч. М. — Нужно разделить иерархию, которая была создана или постоянно создавалась небольшими, замкнутыми, элитарными группами, и иерархию, создаваемую индивидуально, как например, моя собственная. Было известно, что крупнейший польский поэт — Юлиан Тувим. Это как бы официально. Естественно, поэзия Скамандра⁵ была той, которая котировалась прежде всего, собственно говоря, единственно котируемая, но одновременно было множество этих, как их называл Гомбрович⁶, «диковинных босоногих авангардистов», помесь, как он это очень хорошо окрестил, «босоногого пастушонка и учителя в хедере». У них очень высоко котировался Чехович⁷. Незадолго до войны, о чем сегодня забыли, была поголовная мания писать стихи без знаков препинания и без заглавных букв. Это все были подражатели Чеховича. Что касается меня, то я, естественно, был воспитан на Скамандре, но особенно меня привлекал именно Ивашкевич; случай исключительный, ибо его высоко не ценили, считали снобом и эстетом. Тем не менее известны причины, по которым Ивашкевич мне нравился и мог нравиться. Собственно говоря, он был явлением — говорю ЯВЛЕНИЕМ — восполняющим некий пробел. Это значит, что у Ивашкевича присутствовали такие краски и такая чувственность, которые во Франции были, скажем, у Рембо. В отличие от Молодой Поль-

³ А. Фют — сотрудник Краковского университета, автор кандидатской диссертации о творчестве В. Маха и докторской диссертации — о Ч. Милоше; а также книга «Беседы с Чеславом Милошем» [4] и «Строптивый автопортрет Чеслава Милоша» [5].

⁴ Имеется в виду межвоенное двадцатилетие (1918—1939). О литературном процессе этого времени см. [6].

⁵ Литературная группировка, возникшая в 1916 г. «Скамандристов» Я. Ивашкевича, Я. Лехоня, А. Слонимского, Ю. Тувима, К. Вежиньского объединяла общность устремлений к сближению литературы с реальностью, воспевание витальности и активного отношения к жизни, признание индивидуальной самобытности вне обязательных рамок какой-либо узкой идейно-художественной программы.

⁶ Витольд Гомбрович (1904—1969), умерший в вынужденной эмиграции прозаик и драматург, пользующийся мировой известностью.

⁷ Юзеф Чехович (1903—1939) — поэт, литературный деятель, лидер «второго авангарда» — поколения поэтов, дебютировавших в 30-е годы, к которому принадлежал и Ч. Милош.

ши⁸, которая, за исключением Лесьмяна⁹, не могла достичь этой чувственности. Кроме того, поиски новой версификации вели меня к Ивашкевичу. Потому что я находил у него разнообразные интересные формы, новые версификационные решения. А Чеховича я ценил так высоко, что не считал возможным равняться с ним. Я ставил его выше себя. Я чувствовал расположение к нему как к человеку, но также питал к нему глубокое уважение как к поэту. Галчиньский¹⁰. Конечно, Галчиньского я считал выдающимся поэтом. Галчиньского, автора «Бала у Соломона».

А. Ф. Как эта иерархия изменилась у Вас во время войны? Я спрашиваю об этом, в частности потому, что существует два типа видения развития польской литературы. Согласно одному, как Вы говорили, развитие определяется прежде всего историческими событиями, проще говоря — литература подчинена истории, согласно другому — литература развивается самопроизвольно, определенные формы изживают себя и уступают место другим. Период оккупации является в данном случае важным постольку, поскольку в нем преобладало давление истории, отодвигая в тень другие факторы.

Ч. М. — Забудем на мгновение о периодичности землетрясений. Существует другая логика. Так же, как была логика в том, что французский язык начал отступать еще перед войной. В конце тридцатых годов все начинали учить английский. Это один симптом. Другой — множество форумов, авангардистских собраний. Было «нашествие авангарда на Варшаву» в 1934 г. Все это были проявления брожений, направленных против поэтики Скамандра. Что бы ни говорилось обо всех этих группах недоученых пастушков и учителей из хедера, все-таки это подготавливалось. Напомню, что Людвик Фриде¹¹, который хотел кодифицировать эти симптомы, редактировал журнал «Рібо», где публиковались такие поэты, как Юзеф Чехович, Анна Свирчиньская¹² и я. Не помню, кто еще, кажется, Ежи Загурский¹³. Т. е. было сознание формирования новой констелляции. Если проводить переоценку, то прежде всего следовало бы начать с писателей, которые дебютировали в межвоенный период, оценить результаты их творчества, их позицию. Я, например, недавно писал об Ивашкевиче, стараясь оценить его справедливо. Но то же самое можно сказать о Ежи Загурском, который недавно умер. Нужно бы было провести переоценку других писателей двадцатилетия. Я довольно скептически отношусь к некоторым признанным величинам. Я не могу читать романы Налковской, они наводят на меня скуку смертельную. Может быть я несправедлив, но для меня межвоенное двадцатилетие существует как определенная констелляция, определенная иерархия.

А. Ф. — Изменилась ли эта констелляция во время оккупации? Вы полагаете, что в поэзии что-то безвозвратно окончилось? Я догадываюсь, что так было, ибо Вы тогда искали другие способы выражения.

Ч. М. — Знаете, в конечном счете я вошел в военный период еще с достаточно большим запасом поэтики Скамандра. Наша школа, «Жагарь»¹⁴, с литературной точки зрения была где-то на границе. Лишь

⁸ Литературная эпоха, замыкаемая датами 1890—1918 гг. [7].

⁹ Болеслав Лесьмян (1877—1937) — поэт, прозаик, переводчик, один из крупнейших художников слова времен Молодой Польши и межвоенного двадцатилетия [8].

¹⁰ Константы Ильдефонс Галчиньский (1905—1953) — поэт и близкий знакомый Милоша, скрытый под криптонимом персонаж его параболического произведения «Порабощенный разум» (1951, изд. 1953). (О его творчестве см. статью В. Хорева в [9].)

¹¹ Людвик Фриде (1912—1942) — литературный критик. В 1935—1937 гг. был организатором литературно-критического объединения, куда входили известные литераторы — А. Анджеевский, С. Лиханьский, Э. Либеры и др. Вместе с Ю. Чеховичем основал кварталник «Рібо» (1938), представляющий поколение второго авангарда.

¹² Анна Свирчиньская (1909—1984) — поэтесса, представительница «второго авангарда» (см. [10]).

¹³ Ежи Загурский (1907—1984) — поэт, переводчик, эссеист. Начиная в духе, близком «второму авангарду». В послевоенные годы писал в русле классической традиции.

¹⁴ Название литературной группировки и ее ежемесячника (1931—1934), объединивших Ч. Милоша, Е. Загурского, Т. Буйницкого и др. Для программы «Жагаров» была характерна общественно-политическая и моральная трактовка литературы;

приблизительно ее можно считать авангардом, это термин условный. Я прекрасно помню все наши споры. Буйницкий обожал Тувима и, собственно, находился прежде всего под его влиянием. Загурский очень ценил Лехоня и обращался к его поэзии. Я — к поэзии Ивашкевича. Мы немного читали краковян¹⁵, но с достаточной долей скептицизма. Итак, я вошел в период оккупации в значительной степени с прежней поэтикой, которая спустя некоторое время показалась мне чем-то неадекватным и фальшивым. Но это мое ощущение.

А. Ф. — Именно оно меня и интересует.

Ч. М. — Только где-то около 1943 г. я от нее избавился. Это было связано с внутренним кризисом, прощанием с периодом двадцатилетия. Одновременно происходило освобождение от версификации Скамандра. Так что мой цикл «Голоса бедных людей» является переломом. Впрочем, было замечено, что с точки зрения версификации он предвещает Ружевиича¹⁶. Это полный переход к *vets libre*, свободному стиху. Это не означает, что я время от времени не использовал его еще до войны. Однако в основном то была все еще традиция «Скамандра». Но так как я с ней порвал, позднейшая моя поэзия пребывала в конфликте с читателями, привыкшими к «скамандровской» поэтике. Например, за границей, в Лондоне, моих стихов совершенно не понимали.

А. Ф. — После войны, в течение очень короткого времени Вы были участником литературной жизни в Польше и внимательно следили за происходящими переменами. В официально вводимой иерархии остались со времен двадцатилетия главным образом Тувим и Галчиньский. Также Ивашкевич, однако, как бы на правах «святой коровы». Его поэтическая значимость несмотря на то что не превзошла так высоко, как Тувима.

Ч. М. — Конечно нет.

А. Ф. — Каково же в связи с этим было Ваше отношение к Тувиму и Галчиньскому?

Ч. М. — Мне кажется, что важной была публикация «Польских цветов» Тувима. Я читал их, скажем так, со смешанными чувствами. Анекдотический случай. Это не было для меня произведение абсолютно неизвестно, потому что во время войны, когда я был однажды у жены Ваньковича¹⁷ и его дочерей на Жолибоже¹⁸, пани Ванькович дала мне текст, который получила из Португалии, в письме или посылке. Вид у нее был таинственный. Она не говорила, кто автор этой вещи. Сказала: «Вы можете угадать». Я сразу же включил это произведение в мою антологию «Независимая песнь», которую тогда составлял. Кто, собственно, автор, я не очень-то осознавал. Так себе думал, что это мастерское перо, что это старшее поколение, а не какой-нибудь дебютант. Я не узнал Тувима. Впрочем, это меня не особенно занимало, так как я собирал анонимные стихи. Однако в антологии эту вещь я подверг цензуре. Вот это место: «Когда мы будем брести к Варшаве / Через Татры мертвых германских тел./ Через Балтику вражьей крови подлой». Мне показалось, что это несколько безвкусно, в стилистическом плане несколько, скажем так, глупо. И я вычеркнул эти несколько строк. Привожу это как дополнительные материалы к вопросу о цензуре, но цензуре редакторской, не мотивированной ничем иным, кроме эстетического отвращения к чему-то, что я считал ухарством. И так, «Польские цветы» я оценил, но не слишком высоко. Не скажу, что я был в восторге. В значительной степени, наверное, потому, что объектом этой поэмы-размышления были абсолютно для меня чужие края. Мир лодзинский, подлодзинский, подваршавский или варшавский несколько меня не трогал. Зато «Бал в опере» остается необыкновенным дос-

с тенденциями «второго авангарда» ее сближали катастрофизм и концепция поэтического языка.

¹⁵ Имеется в виду краковский авангард. О его программе см. мою статью «Юлиан Пшибось», которая была опубликована в [9] под псевдонимом А. Константинов.

¹⁶ Тадеуш Ружевиич (род. в 1921 г.) — поэт, прозаик, драматург. О его поэзии см. статью В. Тихомировой в [9]; см. также [10].

¹⁷ Мельхиор Ванькович (1892—1974) — прозаик и публицист. Во время войны был корреспондентом на Западе, затем поселился в США, вернулся в Польшу в 1958 г.

¹⁸ Район Варшавы.

тижением польского стиха. Фантастически! На оценку Тувима в большой степени влияло то, как он валял дурака после возвращения¹⁹, стихи, которые он тогда публиковал. Несерьезные.

А. Ф. — А Галчиньский?

Ч. М. — Не знаю, можно ли оценивать Галчиньского, ограничиваясь непосредственно послевоенным периодом. Я считаю, что это был поэт гениальный или почти гениальный. Нужно, однако, отделить плевелы, учитывая, что он был необычайно плодотворным. Я не согласился бы на любое изъятие Галчиньского из-за его политических «присядок». Впрочем, теперь я склонен несколько иначе интерпретировать Галчиньского, чем я это делал в «Порабощенном разуме». Соглашаюсь скорее с Ватом²⁰, который говорит, что Галчиньскому нужно было кого-то боготворить. Это поразительный пример поэта, который всегда хотел быть позитивным. Для меня ключевым произведением является «Песнь херувимская», опубликованная в «Wiadomościach Literackich» в 1930 г. и восхитившая меня. Первым моим знакомством с Галчиньским были его стихи, напечатанные в журнале «Kwadryga» в 1929 г., например, «Элегия на смерть бабочки, раздавленной грузовым автомобилем». Мне очень трудно отделить поэзию Галчиньского от его личности, от облика человека, которого я знал. Ведь он приехал в Вильно²¹ (1935—1936), смаковал его экзотику, ходил в тулупе, опоясанном ремнем. Очень его эта экзотика смешила. Существуют также разные анекдоты о Галчиньском и обо мне, когда я работал на радио. Мне кажется, что судьбы Галчиньского и моя в какой-то степени были связаны или пересекались, включая знаменитую «Поэму для изменника»²². Но было бы неправильно, повторяю еще раз, оценивать Галчиньского по временным, сегодняшним, меркам, т. е. с точки зрения его ангажированности как барда Народной Польши. Я бы теперь склонился к этому мнению Вата, принимая во внимание стихотворение «Песнь херувимская», которая была воспеванием действительности. Вся поэзия Галчиньского выражала потребность воспевать. Воспевание ONR²³ — объясняется тем же. Если кого-то прославлять, то нужно писать против его врагов. Этим объясняется очень низкое стремление высмеивать избитых, а этим Галчиньский в значительной степени и занимался. Но это все можно объяснить как потребность прославлять. Ват цитирует «Оду на смерть Сталина», считая, что это грандиозное оплакивание монарха. Я не согласился бы с Ватом, когда, говоря о Галчиньском, он упоминает весьма распространенное явление: ненависть к своему отцу превращается в ненависть к Богу Отцу и любовь к большому тирану, спасителю. В этом случае — к Сталину. Я думаю, что такая интерпретация заходит слишком далеко.

А. Ф. — Вы полагаете, что это были придворные обязанности?

Ч. М. — Ват возражает против моей интерпретации Галчиньского как придворного поэта. «Милош дает слишком плоскую интерпретацию слова *придворный*. Поэзия всегда была придворной». Он объясняет это искренней преданностью. Впрочем, в качестве доказательства он ссылается на

¹⁹ Имеется в виду возвращение поэта в Польшу в 1947 г. и его участие в официальной жизни, когда новая власть начала постепенно прибирать к рукам культуру и искусство.

²⁰ Александр Ват (настоящая фамилия — Хват; 1900—1967). Поэт, прозаик, переводчик, один из крупнейших творцов польского футуризма. Изведал сталинскую тюрьму, до 1946 г. был на поселении в Казахстане. Прошел путь от увлеченного идеями социалистической революции поэта до политического эмигранта и христианина. Его воспоминания «Мой век» (первоначально записанный на пленку диалог с Милошем) вышли в Лондоне в 1978 г., а в Польше — в 1990 г.

²¹ Ч. Милош вспоминает город своей молодости. До 1939 г. Вильнюс был в составе Польши, отсюда и употребляемое писателем традиционное со времен Польско-Литовской унии (1569) название. Родственник Ч. Милоша — Оскар Милош (1877—1939), вошедший в историю французской литературы и оказавший огромное влияние на его творческую индивидуальность — был советником посольства независимой Литвы и литовским представителем в Лиге Наций.

²² Ею Галчиньский «откликнулся» на решение Милоша остаться на Западе.

²³ Obóz Polskich Narodowo-Radykalny — Национально-Радикальный Лагерь — группировка польских фашистов, возникшая в апреле 1934 г., а уже в июне запрещенная государственным указом. Продолжала существовать нелегально, снискала скандальную славу избиениями евреев.

свои визиты в дом Галчиньского, где портрет Борейши²⁴ был своего рода святая святых.

А. Ф. — Если бы мы теперь отошли от исторической перспективы и взглянули на двадцатилетие с дистанции, какие поэты остались бы на вашей литературной карте? Только Тувим и Галчиньский?

Ч. М. — Отнюдь нет. Нужно говорить о других поэтах двадцатилетия, нужно подумать об Ивашкевиче. Увы, по-моему, Ивашкевич как поэт существовал в основном до войны. Также и проза Ивашкевича, за исключением нескольких рассказов, написанных в период двадцатилетия, таких как «Девушка из Вилька», эта проза для меня не существует. Конечно, мои суждения в высшей степени пристрастны, ибо отражают мои юношеские увлечения. Я очень люблю «Легенды» и «Деметру», раннюю прозу Ивашкевича, пронизанную Украиной. Однако его позднейшее литературное творчество, за исключением нескольких стихов, возникших в самом конце жизни...

А. Ф. — «Карта погоды» это замечательный том.

Ч. М. — Да... может быть я несправедлив, но это для меня не очень-то существует. Я могу тут говорить как составитель антологии. В конечном счете создание антологии — это построение иерархии. Я делал антологию «Послевоенной польской поэзии» («Postwar Polish Poetry»²⁵, т. е. выстраивал иерархию. Я начал со Стаффа²⁶, но лишь последнего его периода. Станным образом отказ от традиционной поэтики, версификации и рифмованной поэзии необычайно хорошо отразился на Стаффе, и он написал несколько прекрасных, небольших стихотворений. С них начинается моя антология. А дальше? Нет в моей антологии ни Тувима, ни Галчиньского. Почему? Потому, что эти поэты так глубоко связаны с языком, что являются непереводаемыми. Таким образом, это особая, так сказать, «епархия». В моей иерархии — если иметь в виду эту антологию — присутствуют Александр Ват, Тадеуш Ружевич, Збигнев Херберт²⁷. Что же касается «Скамандра» — я считал, что должен, как бы обязан включить Слонимского и Вежиньского. И одно стихотворение Ивашкевича, которое тоже целиком пребывает в плоти языка. Если я включил это стихотворение, то исключительно пойдя на некий компромисс. Трудно полностью обойти «Скамандр». Я включил несколько стихов Пшибося, переводя их на английский без особого восторга, но полагая, что ему причитается какое-то место. Если бы я сегодня составлял эту антологию, не думаю, что я включил бы Пшибося.

А. Ф. — Позвольте Вас перебить. Конечно, эта антология — очень явное свидетельство Вашей иерархии, необходимо, однако, принять во внимание, что она адресована американскому читателю, а в связи с этим для нее существенным является как контекст той литературы в качестве определенного критерия выбора текстов, так и просто переводимость стихов. Антология также является компромиссом между Вашими пристрастиями и тем, что в нее должно попасть. Меня интересует, как бы выглядела антология, которая, не считаясь с расхожими вкусами, была бы отражением Ваших собственных пристрастий и предпочтений.

Ч. М. — Я включил бы в нее эти короткие стихи Стаффа, «Бал в опере» Тувима, ряд довоенных стихов Ивашкевича. Я включил бы и несколько стихов Лехоня и притом, кто знает, не таких ли, как стихотворение «Святой Антоний», где он говорит: «Я потерял сам себя». Не думаю, чтобы мне удалось много найти у Вежиньского. Откровенно говоря, Слонимский — это писатель, которого я несомненно бы учел в том, что должно быть

²⁴ Ежи Борейша (1905—1952) — коммунистический публицист и общественно-политический деятель, сыгравший видную роль в реализации партийного плана «преобразования» культуры. Облик Борейши явно проступает в образе циничного, наслаждающегося властью над людьми партаппаратчика из повести Ч. Милоша «Захват власти» (1953).

²⁵ Эта антология выдержала два издания — в 1965 и в 1970 г.

²⁶ Леопольд Стафф (1878—1957) — поэт, драматург, переводчик, крупнейший представитель польского неоклассицизма (см. русское издание [11]).

²⁷ З. Херберт (род. в 1924 г.) — поэт, драматург, эссеист, пожалуй, наиболее известный за рубежами Польши, художник (см. [12]).

предъявлено, но для себя — не очень. Я включил бы многое из Лесьмяна. Включил бы Чеховича. Включил ли бы я Пшибося как поэта, которого хотел бы читать? Нет.

А. Ф. — Вы не цените Пшибося?

Ч. М. — Нет.

А. Ф. — Почему?

Ч. М. — Это для меня поразительный феномен, но интересующий меня, так сказать, умозрительно, не эстетически. В антологию, которую я бы составлял, учитывая, что должно в ней быть, что является составной частью развития польской поэтики, версификации, я, несомненно, включил бы Пшибося. Но в свою — нет.

А. Ф. — А кто еще оказался бы в Вашей личной антологии?

Ч. М. — Ват, Ружевиц, Херберт, Загаевский, Бараньчак ²⁸.

А. Ф. — Вероятно, Свирчиньская?

Ч. М. — О да, конечно.

А. Ф. — А Шимборская? ²⁹

Ч. М. — В определенной степени тоже. Некоторые ее стихи очень хороши. Иногда слишком сближающиеся с эссе. Интересны как форма. Впрочем, справедливо, что Шимборская очень нравится американским читателям. Она такая разная благодаря своей логике. Это очень интересный феномен: поэты, которые логичны, которые размышляют в стихе, воспринимаются необычайно свежо после той магмы, в которой всякие законы логики были отброшены.

А. Ф. — Давайте остановимся на двух поэтах, несомненно относящихся к наиболее значительным в послевоенной поэзии — Херберте и Ружевице. Вы написали большую поэтическую похвалу Ружевицу, а потом...

Ч. М. — Это была не похвала, а приветствие.

А. Ф. — Приветствие, которое, однако, придало ему большое значение. Однако Ваше последнее отношение к нему изменилось в худшую сторону. Почему? Почему Ружевиц был для Вас важен вначале, и чем он Вас разочаровал потом?

Ч. М. — Ружевиц был важен тем, что это был решительно новый голос, очень отличающийся от того, что я читал. Говоря откровенно, ни поэзии Гайцы, ни Строиньского ³⁰, ни других из этой группы я не любил. Я написал об этом в эссе «Охраняемая полоса». Что касается Бачиньского... это слишком тяжело, чтобы можно было уже оценивать его поэзию. Это так, как если бы оценивалась поэзия ксендза Попелушко ³¹. Очень трудно. Но «that's not my cup of tea» ³², по правде говоря. А Ружевиц с самого начала реализовал то, что позднее сформулировал прозой: абсолютную прозрачность стиха, так чтобы форма совсем не заслоняла фактов, жизни, чтобы она была прозрачной, как стекло. И это уже было в первых его стихах. Так что мое приветствие было искренним, потому что я сознательно принимал участие в хозяйстве польской поэзии, опасаясь русских влияний, которые означали возврат к XIX в., т. е. к певучести, много-словию, я бы сказал — сталинской чайковщине в стихе. Поэтому в сопротивлении ей поэт такого типа, как Ружевиц был определенной надеждой. Точно так же — теперь смешно говорить об этом, — сидя в Вашингтоне, я старался публиковать в Польше переводы латиноамериканских поэтов в качестве противовоядя против этой чайковщины. Действительно, такие поэты, как Неруда, очень колоритны. Помню «Tres cantes materiales» Неруды. Кстати, в «Стихотворную речь» я не включил эти стихи. Видите,

²⁸ Адам Загаевский и Станислав Бараньчак — поэты, начинавшие в 60-е годы и потом вынужденные покинуть страну.

²⁹ Вислава Шимборская (род. в 1923 г.) — поэт, чья лирика интеллектуальна и этически заострена на проблемах личного бытия и напряженности связей индивидуума с историей. (О. В. Шимборской см. статью И. Колташевой в [9]).

³⁰ Т. Гайцы, Л. Строиньский, как и упоминаемый далее К. Бачиньский — двадцатилетними погибли в Варшавском восстании (1944).

³¹ Ксендз Ежи Попелушко (1947—1984) был зверски убит офицерами министерства внутренних дел за сотрудничество с «Солидарностью».

³² Это не то, что мне нравится (англ.).

как действует цензура. Я не включил их потому, что Неруда был коммунистическим депутатом и писал обо мне какие-то гадости. Но я думаю, что я поступил плохо и в «Стихотворной речи» должны были присутствовать такие стихи, как «Tres cantes materiales».

Относительно второй части вопроса. Ну, знаете, «мудрый человек в в Кремле, который сидит, курит трубку», думает о том, «как счастливо живут венгерские колхозники» — это первое, что мне немножко не понравилось. А второе — то убожество, направленное прежде всего против Запада. То, я не говорю нигилистическое, видение жизни; ведь можно культивировать так, как Ружевич, нигилизм отчаяния, нигилизм моральный или моралистического толка. Однако в его творчестве, если взять это как целостность, есть много удаления от той чистоты, которая была присуща некоторым его стихам, удаления в сторону не наилучшего вкуса. Ведь те вопли, вызванные мерзостью существования, известные нам по бесчисленным произведениям XX в., это немножко напоминает Weltschmerz³³ Молодой Польши. А как Вы думаете, а?

А. Ф. Очень хорошее сравнение. Ведь это исчерпанность возможностей уже не только интеллектуальных, но и эстетических.

Ч. М. — Но меня утешает то, что Ружевич существует на английском, что он — заслуживающий уважения поэт, автор многих прекрасных стихов.

А. Ф. — А Херберт?

Ч. М. — Я в определенном смысле несу ответственность за существование Херберта в англосаксонской поэзии и частично за его очень высокое положение в Америке. Вся литературная среда знает, кто такой Херберт. В прошлом году он получил международную премию имени Бруно Шульца. Скоро она будет присуждаться за этот год, посмотрим, кто ее получит. Не думаю, что поляк.

А. Ф. — Как Вы оцениваете его в контексте польской поэзии?

Ч. М. Если я начал переводить Херберта — впрочем, еще раньше начал переводить Бялошевского³⁴ — это значит, что я очень проникся этой поэзией. Я считаю Херберта выдающимся поэтом. Поэтом, у которого есть дополнительный плюс — его стих сконструирован логично, интеллектуально и потому может быть хорошо переведен. Ведь чем поэзия чувственнее, так же и в отношении звучания — как поэзия Чеховича — тем хуже переводима. Чехович непереводим. А Херберт переводим и, наверное, лучше, чем кто-либо другой из всех послевоенных поэтов. Ну и Херберт — поэт, который меня необыкновенно интересует с философской точки зрения, потому что он — как я уже говорил — поэт стоического направления. Это, несомненно, поэт некаатолический. Это поэзия неуловимого, поэзия с единым абсолютом родины. Родины, долга, чести. Стойкая, не покоящаяся на метафизическом фундаменте. Несомненно существует какое-то родство между Хербертом и Камю. С этой точки зрения он как польский поэт очень странный феномен. Соперник ли он мне? Думаю, что нет, потому что он работает в другом регистре. Его поэзия каллиграфична, намного каллиграфичнее моей.

А. Ф. — Может быть, различие в том, что его поэзия значительно менее чувственна? Менее чутка в описании чувствительной действительности, нежели в изображении интеллектуальных процессов, философского дискурса?

Ч. М. — Нет, там есть сильная связь с действительностью, но, я бы сказал, не с цветом, а с линией. Это отсутствие пышности. Поэзия Херберта скорее аскетична, не пышна.

³³ Мировая скорбь (нем.)

³⁴ Мирон Бялошевский (1922—1983) — поэт, прозаик и драматург. Его художественному мировосприятию свойственно независимое восприятие социально-идеологического мира с позиции «частного лица», отстаивающего свою систему ценностей, которая не вмещается в рамки «престижных», «общепринятых» норм и представлений, порожденных механизмом общественных институтов. Произведения Бялошевского переведены на многие европейские языки (см. [10]).

А. Ф. — О Херберте можно много говорить в превосходной степени, но не замечаете ли Вы в его поэзии или мировосприятии какой-то ограниченности?

Ч. М. — Знаете, оценивая какого-то поэта мы не можем вдаваться в критику его философии. Мы должны принять адекватность его произведений его мышлению, его философии со всем, что из этого проистекает. Мне кажется, что если поэт напишет один очень хороший стих или три, то этого достаточно, это уже обеспечивает ему, я бы сказал, вечное место. Почему я начал переводить Херберта? Тоже руководствуясь заботой о «хозяйстве» литературы — видя здесь противоядие, на сей раз, от западных влияний. Херберт очень похож на Кавафиса³⁵. Я не знаю, в какой степени он знаком со стихами Кавафиса; думаю, что тут произошла некая конвергенция, некая встреча близких подходов к поэзии, близких мотивов повествования в стихе.

А. Ф. — Я догадываюсь, что в свою антологию Вы бы включили тоже Бялошевского. Ведь его положение в Вашем восприятии очень высоко.

Ч. М. — Да, конечно.

А. Ф. — Следует добавить: несмотря на то, что он является антиподом по отношению к Вашему языку, образу мышления, восприятию. За что Вы так цените Бялошевского?

Ч. М. — Мне не кажется, что испытание временем выдержит все творчество Бялошевского. Конечно, «Дневник времен варшавского восстания» останется как монументальная проза этого периода. Останутся некоторые очень короткие стихи.

А. Ф. — Попытаемся подвести итог. Из нашей беседы недвусмысленно вытекает, что при оценке изменений в иерархии польской поэзии пришло время отказаться от исторической перспективы. Какой же в таком случае принять критерий?

Ч. М. — Замечу, что наша беседа касалась очень узкого круга, нескольких имен. Не всех. Например — Свирциньская. Я издал сборник ее стихов, перевел ее стихи, опубликованные после смерти, и хочу сделать новый сборник, включающий стихи, ранее публиковавшиеся и самые последние. Потому что возникли разные издательские скандалы, которые не хочу описывать. Я написал также предисловие и диалог о поэзии Свирциньской, которые в польском переводе должны появиться в «Res Publica». Итак, совершенно иная перспектива видения Свирциньской, чем в Польше, где ее по сути никто не ценит. Мои критерии обусловлены моей борьбой с мирвою поэзией³⁶. Я ищу польскую специфику, которую я мог бы противопоставить мировой поэзии, поэзии англосаксонской или французской, поэзии на тех языках, которые я знаю. Несомненно, Ват, Херберт, Свирциньская, Загаевский выполняют эту функцию. Они создают польскую школу в мировой поэзии.

А. Ф. — Большое спасибо за беседу.

С разрешения А. Милоша и редакции журнала публикация, перевод и комментарии А. В. Липатова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Teksty Drugie, 1990, № 1.
2. Głowiński M. Nowomowa po polsku. Warszawa, 1990.
3. Łapiński Z. Jak współżyć z socrealizmem. London, 1988.

³⁵ Снискавший мировую известность, греческий поэт Константинос Кавафис (1863—1933) переводился и на польский язык. Его творчеству посвящена монография С. Б. Ильинской [13].

³⁶ Эта установка была присуща Милошу изначально, обретая со временем и применительно ко времени как определенные пункты соотношения, так и точки отталкивания.

Уже в первой половине 30-х годов в своих статьях, опубликованных в журналах «Orka na Ugorze» и «Piop» он темпераментно противопоставлял свой идеал поэзии всей прошлой истории литературы и ее авангардистской современности. В последнее время этот мотив в качестве стержневого ярко и оригинально прозвучал в лекции Ч. Милоша, прочитанной 2 октября 1989 г. в Ягеллонском университете по случаю присуждения ему степени доктора honoris causa.

4. *Fiut A.* Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Kraków, 1981.
5. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut. Kraków, 1988.
6. История польской литературы. Т. 2. М., 1969; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Т. 1—2. Warszawa, 1984—1985; Obraz literatury polskiej XIX i XX w. S. VI: Literatura polska w okresie międzywojennym. Т. 1—2. Warszawa, 1979.
7. Obraz literatury polskiej XIX i XXw. S. V: Literatura okresu Młodej Polski. Т. 1—4. Warszawa, 1968—1973.
8. *Лесьмян Б.* Стихи. Сост. и примеч. Н. Богомоловой. Вступление А. Гелескула. М., 1971.
9. Писатели Народной Польши. М., 1976.
10. Польские поэты. А. Свирщиньская, Т. Ружевиц, М. Бялошевский, А. Бурса, Э. Стахура. М., 1990.
11. *Стафф Л.* Избранная лирика. Сост. и перев. А. Эпшеля. М., 1971.
12. Иностранная литература, 1973, № 2; 1990, № 8.
13. *Ильинская С. Б.* Константинос Кавафис. М., 1984.



ПРОКОФЬЕВА Д. С.

О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ «ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ» ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Аристотель утверждал, что стиль лишенный ритма, имеет несовершенный вид. Необходимость ритма стиха диктовалась тем, что на ранних этапах развития искусства слова он предназначался для декламации. Устное бытование речи было общим источником и поэзии, и прозы. Прозаические формы эпохи Возрождения были рассчитаны на исполнение, а не на чтение. Наиболее причудливая в мировой литературе, по словам А. Франса, книга Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» создавалась для чтения вслух. И, как известно, во время карнавалов отрывки из этого сочинения читались на площадях.

Гегель высказывал мысль о том, что все словесные произведения должны звучать: их следует декламировать, петь, произносить. Такое назначение «звучащей прозы» ставило ее в один ряд с поэзией. Однако и письменная проза, стремясь к стилистической украшенности, отделенности от обычного, разговорного, языка была близка поэзии. Это, может быть в первую очередь касается романтической, так называемой «поэтической прозы».

Что такое «поэтическая проза» и в чем ее сходство с поэзией? Что есть «поэтичное»? Означает ли это понятие лишь стихотворную форму?

Художественный мир предполагает выход за рамки повседневности (если «обыкновенность», «формы самой жизни» не являются творческим императивом определенного времени). Средством освобождения от обыденности служит прежде всего стихотворная форма. Но не только: во-первых, и прозе присущи «высокие порывы», экспрессия, ритмичность, а, во-вторых, константна ли оппозиция «стих — проза», или она подвижна и признаки того и другого постепенно сглаживаются (например, в отдельных жанрах словесного искусства — верлибр, метрическая проза)?

В отличие от поэзии, ритм прозы не столь стабилен, он изменчив, необязателен. Правда, как в эпоху романтизма, так и теперь исследователи склонны считать, что не ритм определяет поэтический характер некоторых прозаических произведений. Польский литературовед XIX в. М. Грабовский писал, что поэзия есть то же самое, что красота, а «прозаизм есть то, что отвечает мелким повседневным потребностям, то, что понятно» [1]. В. Кюхельбекер в статье «Поэзия и проза» в 1835—1836 гг. с уверенностью замечал: «Шатобриан, Жан-Поль, Гофман, Марлинский — поэты же, хотя и не стихотворцы... Ужели самые формы, в которые Шатобриан, Жан-Поль, Марлинский облачают то, что у них истинно поэзия, могут называться прозою? Гофман и Марлинский несколько ближе к языку ежедневному, но и у них те места, которыми они хотят потрясти нервы читателя, требуют, чтоб произнесли их вслух, чтоб поняли их музыку» [2].

Прокофьева Дина Серафимовна — канд. филол. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Создаваемая в эпоху, когда импровизационное искусство было широко распространено как в музыке, так и в искусстве слова, поэтического и прозаического (поэты-импровизаторы, в частности, Мицкевич, выступали с поэтическими и прозаическими импровизациями), романтическая проза испытала на себе влияние звучащего слова. Кроме того, она была тесно связана со стиховой культурой своего времени. Но если в польской литературе романтический перелом был связан с поэзией, то во Франции Ф. Р. Шатобриан своей прозой проложил дорогу для романтической поэзии. Страсти «первобытных», «естественных» людей — «Атала, или любовь двух дикарей», «Рене, или следствие страстей», роман о быте и нравах «экзотических» народов Северной Америки («Натчезы»), повесть о любви араба к испанке («История последнего из Абенсераджей»), «Мученики», названные писателем «поэмой в прозе», — все эти сочинения Шатобриана оказали большое влияние на формирование романтической литературы, поэзии и прозы, стиля, проблематики. Его испытали Б. Констан, А. де Виньи, А. де Мюссе, Жорж-Санд, Э. Крассинский и многие другие творческие личности. Проблема индивидуализма, поднятая Шатобрианом, стала одной из основных в европейском романтизме.

Шатобриан, как и другие писатели его времени, отдал дань восточной экзотике. Ориентализм, как подчеркивают многие исследователи эпохи романтизма, играл большую роль в поэтизации прозы.

Как писал датский литературный критик, автор известного труда «Главные течения в европейской литературе XIX в.», Г. Брандес, был Восток Гете, Восток Гюго, Восток Байрона. Гюго начал писать свои «Les Orientales» под впечатлением греческой войны за освобождение, — замечает Брандес, — «но насколько иначе обращался он с языком! Слова живописали, слова сияли, „позлащенные“ солнечным лучом... слова пели, точно под аккомпанемент таинственно звучащей турецкой музыки» [3, с. 70].

В «Восточных мотивах» Восток у Гюго — это и «лазурные купола, что с небом спорят цветом», и «полумесяцы, что блестя по минаретам как бы затеняли блеск луны», и пески, что «под солнцем тянутся, пыля», и «фата душистой тьмы», пышные сливы, пальмы; дервиши, султаны, дворцы, серали; клинки, ятаганы, сабли. Это необычные для европейцев имена: Нурмагаль, Мударра, Нуреддин. В стихотворении «Ноябрь» поэт называет ориентальные реалии своей поэзии, меркнувшие в зимнем Париже:

Уже развеялись султанши и султаны,
Громады пирамид, галеры, капитаны,
И кровожадный тигр, и дремлющий верблюд,
И джинов злобный рой, и в пляске баядеры,
Жирафы пестрые, в пустыне дромадеры,
Что на горбе своем арабов вскачь несут.
Да, белые слоны процессии священной,
Дома и купола в эмали драгоценной,
Имамы, колдуны, жрецы — как легкий сон,
Рассеялись, ушли. Где минареты, горы,
Серали цветники и капища Гоморры,
Чей жаркий отсвет лег на черный Вавилон?.. [4].

Об ориентализме Гюго Г. Брандес писал как о пестрой восточной страхе света и красок: «Время было безразлично, древние или средние века, или наше время; раса была безразлична: еврейская, мавританская, или турецкая... Вера была безразлична» [3, с. 71]. Кроме Востока Гете, Гюго, Байрона был Восток А. Бестужева-Марлинского, Лермонтова, Пушкина и других русских поэтов и писателей. Ориентализм романтика Бестужева-Марлинского связан с Кавказом. Из тридцати повестей, написанных им после 1825 г., почти половина посвящена Кавказу. Здесь и романтические повести с этнографическим и бытовым колоритом, и путевые очерки, и лирические повести-монологи, панорама кавказского быта с романтическими типами горцев, в речи которых и в описании их внешности и одежды преобладают элементы «восточного стиля», «неистовый» характер героев. Так, например, страстности и необузданности героя повести «Аммалат-Бек» соответствует яркость и живописность его внешнего облика. «Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый арха-

лук... Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотом насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими камнями» [5, т. 1, с. 425].

Как писал в «Очерках декабристской литературы» В. Базанъ, «Бестужев не только не отрицал своего „огненного наречия“, вычурности отдельных выражений, риторической приподнятости и сложной метафоричности повествования, но и считал, что в этом „наречии“ весь он, его родная стихия, его слог и почерк» [6, с. 521]. Исследователи творчества Бестужева-Марлинского (Н. Л. Степанов и др.) считают, что он перенес в романтическую прозу стилистические приемы декабристской поэзии, патетику, приподнятость слова и образа, стилистические принципы романтической поэмы. Героическая личность, драматический сюжет, напряженная композиция и волевые характеры объединяют романтическую прозу Бестужева-Марлинского с «Думами» и поэмами Рыльева, поэзией Кюхельбекера, Одоевского. О сильных страстях, событиях необыкновенных нельзя было писать привычным стилем «прозой мерной и гладкой» [6, с. 523]. В письме Н. и М. Бестужевым (1 XII 1835) Марлинский писал: «Я убежден что никто до меня не давал столько многоличности русским фразам. Да, я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того беру мое золото обеими руками из горы и грязи, отовсюду, где встречу, где поймаю его... Однажды и навсегда — я с умыслом, а не по ошибке, гну язык на разные лады... изменяю падежи для оттенков действия или изощрения слова» [5, т. 2, с. 665—666]. Как замечал Н. Л. Степанов, «принцип словесного орнаментализма, метафоризм, сама установка на „кудреватость и блески“, на разговорное остроумие, на эффектность, подчеркнутость и яркость стиля, имели большое значение для прозы 30-х годов» [7, с. 38]. Русский историк литературы С. П. Шевырев, выступавший против гладкости и благозвучия поэтического языка, писал о манере Бестужева-Марлинского: «Он начал завивать и кудрявить простую гладкую речь карамзинскую: после классических правильных, стройных и окончательных форм, отзывавшихся какой-то холодностью однообразия, пестрота речи показала чрезвычайно привлекательна. Нравилось чрезвычайно это умение сказать все не просто, а как-то иначе; бросались в глаза его сравнения не верность природе, не прямою, а своею внезапностью и странностью» [8].

Однако восточная пышность, живописность, орнаментальность, этнографизм — все это было не только средством литературной стилизации: писатель стремился познать истинную сущность горцев. В повести «Аммалат-Бек» отчетливо прослеживается влияние концепции Руссо о страстях как основе самобытного характера. Образ Аммалата — это образ «естественного» человека, сына гор. Пытаясь разобраться в природе «естественного» человека, Бестужев-Марлинский отвергает теорию о его хищной натуре, показывает, его интеллектуальные возможности, тягу к знанию.

Автор любил и сильных людей, и разбушевавшуюся стихию, природу грозную и величественную. Поэтому и пейзаж в прозе Марлинского не только ярок и живописен, но и динамичен, драматичен. Ему соответствует экспрессивность, энергичность языка. Ритмизация достигается повторениями: «Грустно, о как грустно глядеть незванному на роскошный пир природы и ехать мимо, все ехать...» («Путь до города Кувы») [5, т. 2, с. 191].

Все это, наряду с пристрастием к метафоризации, поэтизации языка дает основание видеть близость прозы Марлинского стиховой культуре (см. [7, с. 28]). Вот один из примеров: «Но больше всего, страшнее всего люблю я бури и грозы на море». (Разве здесь нет ритма?) «Люблю их в час дня, когда солнце пробивает лучем черные тучи и огненным каскадом обливает купы валов, рыщущих по влажной степи; другие с боя теснятся в светозарный круг, загораются, воют от ужаса и стремглав окунаются в глубь, чтоб затушить пламенеющие кудри» [5, т. 2, с. 174—175]. Этот прозаический отрывок напоминает «Грозу» Лермонтова:

Ревет гроза, дымятся тучи
Над темной бездною морской,
И хлещут пеною кипучей,
Толются волны меж собой.

Близость прозы Марлинского и поэзии Лермонтова можно проследить и по другим сочинениям. В поэзии Лермонтова, как известно, немало реминисценций из прозаических произведений Бестужева-Марлинского (из повестей «Аммалат-Бек», «Испытание»). А ранняя проза Лермонтова, неоконченная повесть «Вадим» (1832—1834?) типологически близка прозе Бестужева субъективно-лирической окрашенностью, повышенной экспрессивностью, синтаксисом, приближенным к поэтической речи — «поэтической прозе». Сближает их и «неистовый» характер героев, и мелодраматизм ситуаций. Проблематика этого незавершенного произведения Лермонтова, образы и стиль, как отмечают исследователи его творчества, связаны с лирикой, поэмами и драмами 1830—1832 гг. Возникновение замысла связано со временем отхода литературы от поэтических жанров. Повесть «Вадим», где изображен конфликт титанической личности с обществом, история мести за поправное человеческое достоинство, ближе к романтической поэме, чем к прозаическим жанрам. А образ главного героя восходит к героям ранних поэм Лермонтова (например, к «Демону»). Исследователи творчества Лермонтова отмечают у заглавного героя повести переживания и размышления самого автора, отраженные в лирике 1830—1832 гг. Исповедальный тон, повышенная экспрессивность монологов — не только характерные черты стилистики «Вадима», но и признаки поэтичности первого опыта Лермонтова в прозе.

Романтическое чередование контрастов, «orgia слов», функционально сходных с устойчивыми формулами поэтической речи, прерывистая, эмоционально приподнятая манера повествования, романтическое смешение высокого и тривиального определяют прозу Лермонтова. По словам В. Виноградова, и в стиле «Героя нашего времени» был осуществлен синтез стиховой и прозаической культуры [9]. Лермонтов перенес достижения стихового языка в область языка прозаического. Исследователи творчества Лермонтова отмечали и «сложную систему перекодировки» (Лотман), и «напряженное взаимодействие изобразительной и смысловой энергии» (Чичерин).

В польской литературе этого же времени попытку стилистического эксперимента предпринял З. Красиньский. В 1833 г. была опубликована «поэма в прозе» «Агай-Хан», в которой автор в рамки поэтической прозы попытался вместить значительный повествовательный материал. Раньше других в польской литературе Красиньский создал прозаическое соответствие популярному поэтическому жанру. О поэтическом характере «поэмы в прозе» свидетельствует прежде всего меняющийся ритм. Синтаксис отличается от повседневной, разговорной речи. Экспрессивности стиля, драматизму описаний способствуют синтаксические параллелизмы, повторения. Синонимы, повторения групп согласных и гласных, сходных по звучанию, также выполняют функцию ритмизации прозы. Польские исследователи отмечают и ориентальную стилизацию как средство ограничения языка поэтического от языка повседневности. Экзотика, как тематическая, так и стилистическая, ориентальная стилизация позволяют создать впечатление об особом поэтическом мире. Причем Восток в этом случае трактуется достаточно широко и свободно, без конкретизации и определенности.

Красиньский прибегает к необычным названиям Текбир, Далдек, Киафель, Хадыр и т. п. В то же время в поэме можно найти вполне стереотипный набор восточных слов, с которыми у европейцев связано представление о Востоке: минарет, гарем и т. п. Язык героя насыщен пышными восточными сравнениями, метафорами, гиперболами. В то время представление о восточном стиле было связано со склонностью к гиперболизации. Ориенталист О. Сенковский в предисловии к переводу сочинений Хафиза писал о том, что арабы и персы склонны к преувеличениям, поэтому они рисуют все в самых ярких красках. В европейской литературе восточная стилизация, как правило, связана с «восточными преувеличениями», гиперболизацией. Это характерно и для поэмы Красиньского. При создании образа главного героя писатель находился в плену представлений о «восточном герое», как о человеке примитивном, человеке необузданных

страстей. Здесь напрашивается сравнение с героем Бестужева-Марлинского Аммалат-Бекон, человеком «естественным», но не примитивным.

Для романтической прозы характерно стремление к передаче местного колорита. Нередко это ведет к известному нагромождению подробностей, деталей, к «живописности». Некоторые польские исследователи считают, что эта «живописность» в польской литературе восходит к сарматско-ориентальному барокко. Так, например, А. Якимович пишет о том, что «сарматизм вместе со своей настойчивой упорной легендой о происхождении (с востока) польской нации (точнее — польской шляхты) способствовал достаточно специфическому, на территории Европы почти исключительному, как бы открытому положению по отношению к восточной культуре, в ее мусульманской, главным образом, турецкой и персидской редакциям. Впитав и присвоив себе многочисленные ориентальные элементы, польская „сарматская“ культура, между прочим именно этими восточными чертами объясняла свой своеобразный облик в общей панораме национальных культур Европы» [10].

Между тем, если исходить из представления о том, что в прозе слово изначально имеет изобразительный характер, не сосредоточено, как в поэзии, на своем звучании, призвано создать некий особый художественный мир, то здесь, на наш взгляд, кроется возможность его «живописности». Тем более это справедливо по отношению к прозе романтиков, которые были решительными противниками отождествления поэзии со стихотворством, а признаком поэтичности считали необычность, небанальность, «живописность», подчас причудливость в выражении авторского замысла, что достигается вдохновением, возвышенным характером чувств и мыслей. Для поэтизации языка прозаического произведения подчас достаточноым оказывалось обращение к ориентальной экзотике, к созданию атмосферы необычности. Это касается и «поэмы в прозе» Э. Красиньского. Описания фона событий, места боя, природы нередко довольно пространны, многословны. Экспрессивность сочетается с описательностью, живописностью, образностью. Как замечает автор работы об этой «поэме в прозе», М. Янион, повествователь дважды упоминает о себе как о поэте, что свидетельствует о том, что это не обычное повествование, основанное на современном языке, на котором говорит средний образованный человек, а поднятая над обычным уровнем поэтически возвышенная речь, язык поэта с лютней в руках [11, с. 66]. А новый тип поэта, выдвинутый романтизмом — это поэт, стоявший выше всего земного, творец воображаемого мира. Но в то же время это — судья и обличитель общества, лидер и духовный наставник, знавший как прошлое, так и путь в будущее, внутренне свободный, несущий в мир идеи свободы и независимости.

Повествователь, который называет себя поэтом, нередко обращаясь к стихотворным цитатам, играет важную роль в поэтизации прозы. А как писал Марлинский: «Нелепо требовать от поэта портретного сходства местностей: он перестает быть поэтом, если возьмется не за свое дело. Его циркуль — ум, его палитра — сердце, его кисть — фантазия» [5, т. 2, с. 185].

Красиньский называет героя своей поэмы «дитя воображения». Неоднократно повествователь подает себя творцом предвставленного мира. В лирических партиях текста он обнаруживает равнодушное отношение к судьбе своих героев. В «поэме в прозе» чаще всего отсутствует дистанция между повествователем и теми событиями, о которых идет речь, — он выступает свидетелем происходящего. Начав с традиционной схемы, присущей обычному прозаическому произведению, — героиня и два соперника, — автор перешел к образам-символам, романтической метафоре о судьбе людей, неизбежном конце, о гибели личности. Автора привлекала идея индивидуального величия, апология индивидуализма. Жажда власти — основная черта характера героини Красиньского — Марины Мнишек. Красиньский лепит свой образ в соответствии с существующим в европейской литературе типом женщины-ангела и роковой женщины в одном лице. Ближайшая родословная подобных героинь, соединяющих в себе ангельское и дьявольское начало, восходит к сочинениям В. Гюго. Одной из распространенных в романтизме темы любви была версия лю-

бовь — смерть, идея разрушительной силы любви. Именно такой фатальной силой, ведущей к гибели, представлена любовь в поэме Красиньского.

Вскоре после публикации «Агай-Хана» писатель и драматург А. Горчиньский на страницах приложения к «Gazecie Lwowskiј» «Rozmaitosci» выражал свое восхищение экспериментальной прозой известного поэта-романтика. В стиле своего времени он писал: «Польское не читало око, и ухо не слышало еще таких тонов, звуков, мелодии столь чарующей, восхитительной, так ударяющей в каждую клеточку чувств, в каждую жилку сердца. Это — комета на горизонте нашей литературы» (цит. по [11]).

Одним из выдающихся достижений прозы первой половины XIX в., относящимся в значительной степени к поэтической прозе, современные польские исследователи [12] считают рассказ «Месть панны Уршули» Д. Магнушевского, писателя, долгое время остававшегося мало известным. Лишь в межвоенный период и после мировой войны польские литературоведы по достоинству оценили творчество поэта, драматурга, прозаика. (Он родился в Варшаве, образование получил в Варшавском лицее и университете, где изучал право и администрацию.) Дружеские отношения связывали Магнушевского с З. Красиньским, К. Гашиньским, поэтом и публицистом, эмигрировавшим после восстания 1830 г. во Францию, с Ф. Шопеном. Он участвовал в восстании. Поселившись с 1832 г. в Галиции, Магнушевский сближается с группой «Зевония» славянофильской ориентации. Он не принадлежал к «галицийской конспирации», однако на страницах ее сборников «Ziewonja», «Prace Literackie» и других публиковал свои произведения. Именно здесь появилась «Месть панны Уршули».

Современники Магнушевского называли жизнь его «żywotem prawdziwego poety» — «жизнью настоящего поэта», подчеркивая этой формулой его неприспособленность к окружающей действительности, несогласие с ней. Болезненность, ранняя смерть — все это дополняет представление о романтической судьбе писателя, совпадает с моделью романтического поэта, который, по словам Лотмана, «в своем бытовом поведении свободно перемещался из области прозы в сферу поэзии» [13].

Первое известное сочинение Магнушевского — драматический фрагмент «Святая инквизиция» (1829, опубл. в 1857 г.), сходный тематикой и сенсационностью с «Эрнани» В. Гюго. (Вместе с Гашиньским Магнушевский переводил часть этого произведения французского романтика.)

«Месть панны Уршули» была опубликована на страницах «Prace literackie» в 1838 г. В основе этого рассказа — события из эпохи Зигмунда III. Как и Красиньский, Магнушевский обратился к эпохе барокко, времени риторики в литературе и ярких эффектов, игры света и тени — в живописи. Суть рассказа — конфликт гетмана Ходкевича и фаворитки короля. Эти персонажи олицетворяют собой две антагонистические силы: старопольского, сарматского начала и чужеземного влияния. Первое есть сила, мужество, второе — слабость, изнеженность. Покушение на короля, совершенное слугой Ходкевича, Уршуля пытается использовать для компроматации своего врага. Однако ей не удается убедить короля, что инспириратором покушения был Ходкевич. Казнь слуги гетмана — кульминация рассказа. Зло не наказано. Конфликт продолжает существовать.

Обращаясь к реально существовавшим персонажам, к известным историческим событиям, художник свободно обращается с хронологией, нередко объединяя события разных времен. В классицистической прозе свободное обращение со временем, его смещение создает эффект высокого стиля, принципиально отличного от повседневности. У Магнушевского смещение времен перестает быть признаком высокого стиля, служит иным целям: глубине изображения событий, их приближению, если обратиться к языку кинематографа, появлению разных планов, динамике, ускорению или замедлению изображения.

М. Грабовский считал, что в сочинении Магнушевского «все отдельные подробности» не сливаются в гармоничное целое (цит. по [12]). Критик отметил одну из наиболее примечательных особенностей рассказа Магнушевского — обилие подробностей. Казалось бы, художник создает неорганизованный, хаотичный мир людей и вещей. Но «случайный», субъектив-

ный подбор отдельных черт, деталей, элементов, сцен, ситуаций складывается в нечто единое, цельное, в картину мира, которую художник творит как бы на глазах зрителя-читателя. Кроме того, писатель создает больше, чем просто предметы и ситуации — это символы определенных сил, участвующих в истории, ее формирующих. Интерьер жилищ Уршули и Ходкевича, их несходство отражает антитезу не только характеров, но и двух типов культур. «Двух шагов не ступил от комода, а уже новое диво тебя охватывает; камин огромный черным камнем выложен, на хребте несет мраморную доску, а на ней янтарные фигурки скачут, ежатся, пляшут — ... все это сбивчиво лезет к тебе, дразнится, вызывает смех, пустоту, шутки, и делает тебя таким в этой комнате, каким тебя панна Уршуля хотела бы видеть, потому что где тебе собрать мысли и голос к ним пристроить, когда в каждом углу охотится на тебя пустота и рвет к себе сердце как к самому лучшему делу».

Или: «... стол, широкий посередине, длинный, мощный, дубов не жалели, ибо немалые миски на нем поставят, немалый вес бокалов съдет ему на шею».

Портреты предков «живут» в рассказе: «спиной повернулся к комнате с оружием». Мир и все вещи автор представляет в движении. Предметный мир, как в народном творчестве, как в творчестве других писателей, например Гоголя, персонифицируется, живет своей самостоятельной жизнью. Фигурки на камине пляшут, смеются, чаши с вином садятся на шею стола, нос на портрете «долго идет к устам», «ступени летят наверх и перед королевскими покоями бьют мраморным порогом» (каламбур от «бить челом», мастерски обыгранный писателем); «высокий свод в арке ступает к стенам»; «город-чудовище выглянул уже седыми стенами за Краковские ворота. От Вислы где-то в пригорок песка зарылся Замок и стеклянными очами заглядывает к своей возлюбленной, что убегает от него в Гданьск».

Автор избегает бесцветных описаний, определений, не передающих эмоциональную ауру. Его язык живописен, экспрессивен, метафоричен. Богатству и яркости языка поэтической прозы Магнушевского способствуют архаизмы, провинциализмы, неологизмы, метонимии, метафоры и т. п. В слове «przekonwiktował» вместо «przekonał» (убедил) автору удалось передать колорит эпохи. Вместо бесцветного «niewiele» (немного) — «nie gęsto było». А этимологический смысл, утраченный в слове «bezczelny», автор передает сочетанием «bez czola śmiałość». В числе других приемов, метонимии, например, «zamyśliła się głowa», «skoczył... prędko pogo» способствуют краткости, конденсированности, экспрессивности стиля Магнушевского. «Czasy przed-bońskie», «rok 1555 zwyczajów, upręć, kobierców» — примеры очень емких конденсированных определений времени. Так же емко Магнушевский умеет сообщить читателю об образе жизни своего героя: «Te marszczki-to okop myśli zbrojnych ku dobru ojczyzny». Стремление к краткости, экспрессии, динамизму отразилось и на сокращении приставок, слов: «słonił-zasłonił», «stopił się — zatopił się», «zmarszczki-marszczki» и т. п.

Стилистическое новаторство прозы Магнушевского, гиперболизация, экспрессивность, эксперименты с языком — все это воздвигло барьер непонимания между писателем и читателем. Этому во многом способствовала критика. Поэтому новое издание рассказа «Месть панны Уршули» отделяет от первой публикации много десятилетий.

Итак, мы рассмотрели размывание границ между поэзией и прозой на материале поэтической прозы, к которой применимо высказывание А. А. Потебни, назвавшего художественное мышление XIX в. «собственно поэтическим». Принятие этой концепции облегчило нам рассуждения о поэтической прозе, в которых слово «поэтический» — не только и не столько оценочное словосочетание или синоним стихотворного, сколько некий синтез различных толкований, термин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Grabowski M. Polska krytyka literacka (1800—1918). T. 2. Warszawa, 1959, s. 55.
2. Кюгельбекер В. Поэзия и проза. — В кн.: Литературное наследство. Т. 59. М., 1954, с. 392, 394.

3. Брандес Г. Собрание сочинений в 12-и т. Т. 8.— Киев, 1902, с. 71.
4. Гюго В. Собрание сочинений в 15-и т. Т. 1. М., 1953, с. 425.
5. Бестужев-Марлинский А. Сочинения в 2-х т. М., 1958.
6. Базанов В. Очерки декабристской литературы. М., 1953, с. 521.
7. Степанов Н. Л. Вступительная статья.— В кн.: А. Марлинский (Бестужев). Избранные повести. Л., 1937, с. 38.
8. Москвитянин, 1842, кн. 3, с. 167.
9. Виноградов В. Стиль прозы Лермонтова.— Литературное наследство. Т. 43—44. М., 1941, с. 624.
10. Jakimowicz A. Zachód a sztuka Wschodu. Warszawa, 1967, s. 87.
11. Janion M. «Agai-Han» jako romantyczna powieść historyczna.— In: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa, 1969.
12. Bartoszyński K. Dominik Magnuszewski. Obraz literatury polskiej.— Literatura krajowa w okresie romantyzmu (1831—1863). Т. 1. Kraków, 1975, s. 650—665; Prokop J. «Zemsta panny Urszuli» Dominika Magnuszewskiego. Próba interpretacji.— Pamiętnik Literacki, 1962, s. 420.
13. Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория).— Литературное наследство декабристов. Л., 1975, с. 74.



МЕДВЕДЕВА О.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ВОСПРИЯТИЕ: ДРАМА ТАДЕУША МИЦИНЬСКОГО «КНЯЗЬ ПАТЕМКИН»

Имя Тадеуша Мициньского (1873—1918), одного из самых оригинальных польских писателей рубежа XIX—XX вв., поэта, прозаика, драматурга, публициста, ничего не говорит современному русскому читателю. Польский критик Т. Налепинский с сожалением замечал в 1910 г.: «О Мициньском в России не писалось, книги его не переведены» [1]. И сегодня, по прошествии многих десятилетий, нам нечем опровергнуть эти слова. Из обширного творческого наследия Мициньского на русском языке опубликованы лишь два стихотворения [2]. Сам по себе этот факт не был бы столь примечательным — нами пока не освоено творчество и многих других польских писателей нынешнего столетия, — если бы не тесные связи Мициньского с Россией.

В гимназические годы он служил домашним учителем в Полесье. Позднее подолгу жил в имении жены Лясковичи, под Бобруйском. Мициньский исходил, исколесил вдоль и поперек всю округу: Петриков, Гомель, Могилев, Мозырь... Не раз бывал он в обеих российских столицах. В Москве, где писатель провел последние три года жизни (с октября 1914 г.), он вел активную общественную деятельность, выступал с публичными лекциями, работал в литературно-художественном кружке Польского дома, сотрудничал в «Газете польской», печатался в русской столичной и провинциальной прессе (в «Русском слове», «Русских ведомостях», «Армянском вестнике», «Царицынском вестнике», «Прибалтийском крае» и др.)¹, переводил польскую поэзию на русский язык (например, знаменитый гимн «Еще Польша не погибла» — см. [4]). Мициньский работал и над переводами собственных драм, мечтал об их постановке в России (см. [5]). Он был дружен со Станиславским, другими мхатовцами, Таировым, встречался с Бальмонтом, Брюсовым, Ф. Сологубом... (см. [6]). Эти контакты все еще не прокомментированы и не объяснены. Польская исследовательница творчества Мициньского справедливо отмечает, что московский период жизни писателя совершенно не изучен [7].

И еще одна — последняя — тайна отношений Мициньского с Россией: здесь он «принял страшную, бессмысленную смерть» [8]. Мициньский, сорока пяти лет, был убит в Могилевской губернии при невыясненных обстоятельствах, то ли обычными грабителями, то ли большевиками — в неразберихе революционных лет и те, и другие ценили жизнь дешево. Согласно одной версии, трагедия произошла неподалеку от Черикова (ныне Могилевской области), согласно другой, под Чечерском (ныне Гомельской области). Первой придерживаются авторы фундаментальных изданий по истории польской литературы [9]. Автор книги о Мициньском Е. Тынецкий, основываясь на свидетельствах очевидцев, подробно излагает вер-

Медведева Ольга Рахмиловна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Эти и другие публикации выявлены И. Курант (см. [3]).

сию гибели писателя под Чечерском [10]. Но от Черикова до Чечерска по прямой километров восемьдесят... Где же все-таки погиб Мициньский?

Доподлинно известно лишь то, что похоронили писателя в селе Малые Малиниччи [10, s. 204]. Однако на доступных нам картах Белоруссии такой населенный пункт не значится.

Поистине прав был Виткаций, когда писал: «Раньше польский художник мог надеяться по крайней мере на свою смерть. Но с момента смерти Тадеуша Мициньского, забытого несмотря на смерть, ясно, что и этот довольно рискованный эксперимент не дает положительных результатов» [8, s. 513].

Установить место, где жил и был захоронен писатель, еще предстоит — во имя польской и российской исторической памяти. Пока же рассмотрим связи творчества Мициньского с культурой России.

Мы уже имели возможность писать о «русской» драме Мициньского «Князь Патемкин», посвященной революционным событиям 1905 г. на Черноморском флоте и написанной в 1906 г., буквально вдогонку событиям² [11]. Последнее обстоятельство следует иметь в виду независимо от аспекта анализа, в том числе при исследовании и поэтики драмы, и ее обширных интертекстуальных референций, и обусловленных ими особенностей восприятия и интерпретации.

Многих современников писателя смущала якобы свойственная драме «путаница идей, не приведенных в единство», «смесь не сочетаемых друг с другом разнородных элементов», «туманность», «намеренная зашифрованность», множество темных мест³ [16] (см. также [1]). Действительно, к «Князю Патемкину» вполне применима характеристика, данная произведениями Мициньского Виткаciem: «Это не игрушечные строения, аккуратно сложенные из кубиков. Это нагромождение взорванных пирамид, в которых словно застыли движение, мощь, непредсказуемость стихии» [8, s. 155].

Утвердившееся мнение о хаотичности драмы во многом объясняется ее коллажностью: она почти сплошь состоит из цитат, изъятых из многочисленных художественных и публицистических текстов. Коллажность — структурообразующий, программный для данного произведения принцип. Это подтверждает и венчающий его «эпилог». По сути, эпилогом Мициньский называет приложение к драме, попросту перечень использованных источников. В журнальном варианте («Критика», 1906, № 4—10) отсылка к некоторым источникам еще более «прямолинейная»: на странице, под строкой. Мициньский работает в открытую. Его драма — не тест на эрудицию — нет нужды «разгадывать» влияния и связи. Сообщая источники, Мициньский, вероятно, заботится не столько о том, чтобы читатель поверил в достоверность изображаемых событий (ведь в драме шла речь о всем известной текущей истории), сколько о том, чтобы от внимания читателя не ушли — выражаясь современным научным языком — интертекстуальные связи, которые, как известно, существуют там и тогда, где и когда их видит читатель.

Среди материалов, указанных Мициньским в эпилоге, в основном публицистика и документы: свидетельства участников и очевидцев восстания, статьи из прессы, прокламации. Но в драме многочисленны и художественные «отсылки»: литературные цитаты, реминисценции, аллюзии. И те и другие в «Князе Патемкине» вступают в отношения друг с другом, взаимодействуют и, дополняя друг друга, способствуют воссозданию фактической канвы событий, плоти истории и идей, которыми дышала эпоха.

² Пора объяснить читателю необычную орфографию заглавия: «Патемкин». Подметив склонность авторов работ о восстании на броненосце «Потемкин» воспроизводить живую разговорную речь с характерной редукцией гласных, с другими колоритными особенностями южнорусского говора, Мициньский находит им аналоги в польском языке и активно пользуется этой краской в своем произведении.

³ Как «слабого драматурга» (и посредственного поэта) характеризует Мициньского и автор дореволюционной «Истории польской литературы» А. Яцимирский [12]. В то же время смелым новатором и ярким художником его называют авторы обзоров польской словесности в русской прессе [13]. Такой разброс мнений и понятий сопрягает творчество Мициньского.

В эпилоге назван и один литературный источник, и этот факт обращает на себя внимание. Воспроизводим дословно запись Мициньского: «стихи О. Уайльда в переводе Бальмонта»⁴ [15]. В самом деле, озадачивает: в драме о восставшем броненосце автор опирается на произведение двух записных эстетов, английского и русского!? Что это? Не пресловутая ли анархия драмы? Включение в нее материала без разбору? Есть повод насторожиться.

Отнесемся к такой странности повнимательнее. (Этот казус прежде не анализировали ни те, кто занимался структурой драмы, ни те, кто писал о русских связях Мициньского.)

Обратимся к тексту драмы. В каком окружении находятся в ней строфы (два фрагмента) из уайльдовской «Баллады Рэдингской тюрьмы» в бальмонтском переводе? И что это вообще значит: появление в польской драме русского перевода английской баллады?

Стихи Уайльда о виселице в драме произносит прибывший на корабль с берега социал-демократ Фельдман. Они звучат в самом конце 4-го акта пятиактной драмы, когда события стремительно движутся к развязке. Отметим, что драма задумывалась как четырехактная, о чем свидетельствует ее журнальный вариант. Мициньский писал из номера в номер. В каждом номере публикации предпосылалось жанровое определение: «Драма в 4-х актах». Однако в десятой книжке журнала читатели, думается, не без удивления, обнаружили пятый акт (в предыдущем номере не было пометы «Продолжение следует»). В журнале так и значилось: «Гадеуш Мициньский. Князь Патемкин. Драма в 4-х актах. Акт 5-й». Ни автор, ни редактор не заметили курьеза. Вряд ли это была простая небрежность в редакционной работе. Скорее следует полагать, что новый финал был приписан к уже готовой драме. Он как бы остраивает действие, переносит его в далекие Гималаи, место обитания Далай-Ламы, символизирующего грядущее освобождение человечества — этот финал вселяет надежду. Но в 4-м акте Мициньский еще крепко держится трагической реальности: упадок восстания неизбежен, жертвы — неотвратимы.

Приведем полностью интересующую нас цитату [16], сопоставив ее с бальмонтским переводом.

Перевод Мициньского «с Бальмонта»

Nagle na żegarze więzienia
trzykroć uderzył młot —
i jękiem ogólnym rozgłosił
od podziem aż do wrot —
jak gdyby krzyknął trędowaty
wśród przerażonych błot.
I jak w kryształe snu widzimy
najpotworniejszą twarz —
my zobaczyli hak z powrozem
przed nami czarną straż —
my usłyszeli jak modlitwę
szeptał ktoś: Ojczy nasz!
Wtem ból — który się rozplómił —
ten jedyn straszny krzyk —
wtedy pojąłem aż do dna grozę,
której nie pojmie nikt.
W życiu, kto wielu konających
widział — tem już dla życia znik!

* * *

I on z krwawiącym wzdętem gardłem
z mgłą nieruchomych kras —
czeka rąk tego, z kim rozbójnik
miał raj — w ten straszny czas...
Kiedy rozbite mamy serca —
Pan już nie wzgardzi nas!

⁴ Другие: Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Горький — в эпилоге не обозначены. Бальмонт же, судя по всему, фигурирует как новейший источник, имеющий силу документа.

Внезапно на часах тюремных
Восьми отбит был счет,
И стоном общим огласился
Глухой тюремный свод,
Как будто крикнул прокаженный
Средь дрогнувших болот.

И, как в кристалле сна, мы видим
Чудовищнейший лик,
Мы увидали крюк, веревку,
Пред нами столб возник,
Мы услышали, как молитву
Сдавила петля в крик.

И боль, которой так горел он,
Что издал крик он тот,
Лишь понял я вполне, — весь ужас
Никто так не поймет:
Кто в жизни много жизней слышит,
Тот много раз умрет.

* * *

И тот — с кровавым вздутым горлом
И с мглой недвижных глаз —
Ждет рук того; кем был разбойник
Взят в рай в своей смертный час.
Когда у нас разбито сердце,
Господь не презрит нас.

Мотив виселицы в 4-м акте — сквозной. Он — мрачное предзнаменование трагедии. Он словно торопит финал: матросы еще грозят офицерам виселицей, но офицеры, уже оправившись от первого испуга, воображают на виселице самих матросов. А за штурвалом оказывается Незнакомец, ведущий корабль в бездну...

В то же время мотив виселицы, как ни парадоксально, выражает и твердую веру в торжество идеи Свободного Человека: повешенный на мачте (импровизированной виселице), матрос не умирает — он возносится к звездам (как путь «по вертикали»): из ада трюма и машинного отделения на мачту, в небеса — интерпретирует эту сцену польская исследовательница Э. Жевуская [17]. Эпизод предвосхищает 5-й акт: символическую духовную победу восставших (корабль обойдет рифы) и — реальную гибель главного героя драмы лейтенанта Шмидта⁵, его последнего видения с орудиями пыток, тысячами могил, трупами, сбрасываемыми в море. «Смертью, затачивающей косу, поглощаемого морской пучиной Фельдмана, который «остывающими устами молится за человечество...» [16, с. 115].

Понятно, что такой финал был продиктован самой историей: восстание потерпело поражение. Но его художественное разрешение — через мотив виселицы — видимо, было подсказано Мициньскому документом, имевшимся в его распоряжении в ходе работы над драмой. Это был автограф Шмидта, записка, переданная им во время свидания в каземате Очаковской крепости, незадолго до суда, в январе-феврале 1906 г., защищавшему его адвокату Т. Врублевскому, записка смертника: «Умирать в борьбе легко — это потребность. Умирать на эшафоте тяжело — это жертва» (см. [18])⁶.

Сказанное объясняет появление в драме мотива виселицы: он отвечает описываемой ситуации, ее атмосфере. Но почему для его осуществления Мициньский обратился к «тюремной» балладе Уайльда в переводе Бальмонта?

Если Мициньский непременно хотел декорировать драму еще одной поэтической вставкой (в произведении много стихотворений и песен,

⁵ Необходимо пояснить, что Мициньский произвел контаминацию революционных выступлений в Одессе и Севастополе, восстаний на «Потемкине» и на «Очакове», чутко уловив связь между этими двумя событиями.

⁶ Мициньский специально приезжал в Вильно к адвокату Врублевскому, чтобы познакомиться с его архивом.

в том числе полностью цитируется «Варяг» Репнинского в польском переводе; есть рабочие, солдатские песни), то он, блестящий поэт, мог сам написать стихотворение в нужной ему тональности. Если же хотел соблюсти пиетет к реалии, мог отыскать подходящее по настроению русское стихотворение. Однако драматург почему-то предпочитает сложный ход: дать в польском переводе, максимально приближенном к русскому Бальмонтовскому переводу (т. е. как бы к вторичному оригиналу), фрагменты баллады Уайльда.

Попытаемся подойти к решению этой проблемы с другого конца. Предположим, что Мициньский хотел по той или иной причине включить в «Князя Патемкина» выбранные им строфы Уайльда. Но он мог использовать другой прием, к которому широко прибегал в драме: дать их в переводе на польский, с собственным или бытовавшим в Польше⁷. Правда, в таком случае утрачивалась бы «русскость» эпизода. Мициньский мог дать уайльдовские строки и по-русски в польской графике, что он также практикует в драме, но тогда в восприятии мог быть отчасти утрачен смысл. Ведь стихи о виселице — многосмысленны. В отличие от примитивной, понятной уже интонационно песни бесчинствующих в Одессе пьяных казаков, представленной в «Князе Патемкине» именно в таком варианте [16, с. 66]:

Na ulicie Maryensztadskoj
râzigralsia knut kazackoj
biej nagajka mieszczanina —
zażgi pakliu kierosina —
aj, toptaj — toptaj!

Наконец, стихотворение могло быть дано на польском языке с вкраплениями русицизмов, как, например, в «Варяге» [16, с. 77—78]:

...walczy z przemocą, zwycięską
dumny krasawiec — Wariag

или в другой песне времен русско-японской войны [16, с. 105]:

Rozkazali nam od brzegu
płynąć w morski muł —
przepadnij moja *tieliego*
z wszystkich czterech kół.

Но и это грозило хотя бы частичной потерей смысла. И Мициньский предпочитает невероятный, немислимый с точки зрения здравого смысла перевод русского перевода — только бы не поступиться верностью русской реалии, каковой был текст Бальмонта, и — только бы выявить во всей полноте смысл эпизода, быть может, важнейшего во всей драме. Иначе говоря, Мициньскому важно было сохранить все, ничего не потерять по пути, в процессе транспозиции русской действительности «на польский язык».

Мициньского не останавливает известная спрямленность (в отдельных фрагментах) перевода Бальмонта. Так, например, вошедшая в драму строфа:

And from all the goal rose up a wail
Of impotent despair,
Like the sound that frightened marshes hear
From some leper in his lair

у Бальмонта звучит следующим образом:

И стоном общим огласился|
Глухой тюремный свод
Как будто крикнул прокаженный
Средь дрогнувших болот.

⁷ Нам не удалось найти доказательств существования к 1906 г. польского перевода «Баллады». Однако, учитывая огромную популярность Уайльда в Польше в этот период, логично предположить, что такой перевод был. Отметим и такое совпадение: произведения Уайльда (например, «Счастливый принц») печатались в 1903—1904 гг. в том же журнале «Критика», где первоначально была опубликована драма Мициньского.

В переводе Бальмонта отсутствует аналог английского слова «lair». Буквально: «как крик прокаженных, который исходит из их логовища (или могилы) или из загона, откуда *отправляют на бойню скот*) и который слышат испуганные болота». Эта утрата обедняет образ, а отчасти — и смысл. (Мы помним, что главный герой баллады убийца, приговоренный к смертной казни.) Справедливости ради, скажем, что с этим образом не удавалось справиться и другим переводчикам. Например, у Брюсова он также «пропущен»:

И вдруг, как волны, все наполнил
Бессильной скорби стон:
Так прокаженные тревожат,
Вопя, болотный сон...

Итак, в торопливый перевод Мициньского переключиваются и достоинства и недостатки перевода Бальмонта. Более того, в нем появляются новые огрехи. Так, например, чтобы сохранить сходную с русским «оригиналом» рифму к слову «глаз», писатель ставит первое попавшееся под руку и подходящее по звуковому оформлению слово «kras». Бальмонтское «с мглой недвижных глаз» обретает вид «z mgłą nieruchomych kras». Слово, означающее в переводе: «красота», «краса», «цвет», «окраска», «украшение» — в данном контексте явно случайное. Дело доходит до смешного. Но Мициньский спешит вперед. К своей цели.

Важно ответить еще на один вопрос: как попал к Мициньскому бальмонтский перевод Уайльда? Анализ метода работы Мициньского с источниками убеждает в том, что нередко драматург использует цитаты из художественных текстов, заимствованные, в свою очередь, из документальных источников. Он даже не сверяет их с оригиналом, ибо для него существенна точность атмосферы, а не корректность цитирования. Например, искаженной предстает цитата из драмы Горького «На дне» (скорее это просто высказывание в духе Горького), которую Мициньский изымает из книги социал-демократа Кирилла «Одиннадцать дней на „Потемкине“» и превращает в реплику одного из персонажей: «Ваш закон, ваша истина, ваша справедливость другие, чем наши... — Прав Горький! Мы другие...» [16, с. 5]. Сравним у Кирилла: «Другой раз Никишкин прочитал из пьесы Горького „На дне“ революционные рассуждения одного из жителей кабака Василисы: „Ваш закон, ваша истина, ваша справедливость другие, чем наши“» [19].

Однако, изучив источники, указанные в эпилоге, а также целый ряд других материалов, в которых современники повествуют о восстании на «Потемкине», мы не нашли такого, в котором было бы зафиксировано знание кем-либо из повстанцев или из повстанческого окружения «Баллады Рэдингской тюрьмы». Не случайно Мициньский не указывает (как он это делает в других случаях), из какого издания заимствована данная цитата.

«Баллада Рэдингской тюрьмы» была опубликована в 1898 г. У нас нет сведений, что Мициньский держал в руках ее английский оригинал. По всей видимости, он пользовался только переводом Бальмонта, который вышел отдельной книгой в издательстве «Скорпион» в 1904 г. Драматург мог познакомиться с ним в Петербурге, где побывал во время работы над драмой, о чем свидетельствует его письмо Т. Врублевскому, датированное 13 июня 1906 г. и посланное в Вильно из Петербурга. В письме Мициньский сообщает, что продолжает работать над драмой «Князь Патемкин» [6, с. 147—148].

Внимание Мициньского к переводу могло быть привлечено и серией статей Бальмонта об Уайльде (а также откликами на них), появившейся в 1904—1906 гг. в русской прессе, за которой Мициньский внимательно следил (см. [20]).

Отсутствие упоминания бальмонтского перевода Уайльда в социал-демократических органах (во всяком случае, как уже было сказано, нам не удалось такового найти), также косвенно подтверждает, что уайльдовско-бальмонтский текст Мициньский вложил в уста социал-демократа Фельдмана под свою ответственность. Он произвел выбор и — как мы постараемся показать ниже — выбор безусловно точный.

Попутно возникает целый ряд интересных для исследователя вопросов. Известно, что Бальмонт и Мициньский были знакомы (вероятнее всего, они познакомились в 1914 г.), но знал ли Бальмонт об использовании его перевода в драме «Князь Патемкин»? Говорил ли Мициньский Бальмонту о проделанной им весьма специфической операции? И если говорил, то какова была реакция Бальмонта? А может быть, Мициньский подарил Бальмонту свою драму и где-то хранится экземпляр книги с автографом «никому не известного» автора странного произведения?

Но вернемся от гипотез к реальности. Что же все-таки определило выбор Мициньского? Что привело его к Бальмонту? Здесь целое сплетение причин. Назовем лишь некоторые из них. Бальмонт был близок Мициньскому-поэту в творческом отношении. Оба разделяли идею славянского единения, оба мыслили во вселенском масштабе, видели мир в извечной борьбе Добра и Зла как противостоянии Света и Мрака, Солнца и Тьмы. Оба увлекались народными легендами, мистическими идеями, экзотическим Востоком... Отчасти это сходство объяснялось принадлежностью к одному поколению, приверженностью одному направлению — символизму, но отчасти — и близостью индивидуальностей. Творчество Мициньского и Бальмонта может быть рассмотрено и типологически, но для нужд нашего исследования важно подчеркнуть другое: Мициньский писал «Князя Патемкина» для польских читателей и предпочитал, чтобы использованное имя было для них значимым. Бальмонта же в Польше хорошо знали, имя его было на слуху. И Бальмонт интересовался Польшей, писал о польской литературе, в частности, о модном тогда С. Пшибышевском, а в 1906 г. (т. е. в году, когда создавалась драма Мициньского) опубликовал в социал-демократической газете «Красное знамя» (№ 2), а затем и в эстетском «Золотом руне» (№ 6), перевод «дерзких фрагментов» из «Дзядов» Мицкевича: «Песнь польского узника» и «Песнь крови»⁸. Это также могло навести драматурга на мысль о включении бальмонтского перевода в «Патемкина».

Но, думается, главной причиной, побудившей Мициньского обратиться к Бальмонту в поисках точно отражающего эпоху материала было то, что сам русский поэт, еще со времен «Маленького султана» (1902)⁹ был приметой, неотъемлемой частью русской жизни предреволюционных и революционных лет.

Нам привычен Бальмонт-декадент, самый модный поэт России на рубеже веков, «нераздельно царивший над русской поэзией» [21], певец «безглагольности», «безгласности», «безбрежности», отождествлявший себя с «изысканностью русской медлительной речи». В сущности, таким он и был, в соответствии с чем и занимает определенное место в истории национальной литературы.

Но тот же Бальмонт с юных лет тянулся к революционно настроенной интеллигенции, откликался на все важнейшие события начала XX в.: русско-японскую войну («Война»), расстрел 9 января («Страшный срок», «Царь-ложь»), широко печатался в большевистских газетах «Новая жизнь» и «Красное знамя». Книги Бальмонта конфисковывались, были под запретом.

В декабре 1905 г. поэт всем сердцем был на стороне участников Московского вооруженного восстания, а на рубеже 1905—1906 гг., предвидя репрессии в связи с усилением реакции, уезжает в Париж. Скорее всего предчувствие его не обманывало — за антиправительственные стихи ему грозила тюрьма.

⁸ Основные бальмонтские переводы из польской поэзии (Словацкий, Красиньский, Каспрович) были выполнены позднее, в 1910—1918 гг.

⁹ Этим стихотворением Бальмонт откликнулся на разгром полицией и казаками студенческой демонстрации, повлекший гибель нескольких студентов. Впервые оно было опубликовано в сборнике «Песни борьбы», изданном Союзом русских социал-демократов в 1902 г. в Женеве. Цитированное в большевистских прокламациях стихотворение получило широкую известность. После публичного чтения его Бальмонтом в марте 1901 г. ему было запрещено жить в столицах, столичных губерниях и университетских городах.

Бальмонт был действительно увлечен революцией. Его политические стихи полны ненависти к самодержавию («Самодержавие разорвано, разбито...», «Николаю последнему» и др.). Бальмонт пишет и десятки так называемых пролетарских гимнов: «Поэт — рабочему», «О, рабочий, я с тобой...» (ноябрь 1905 г.) и др.

Сам Бальмонт назвал эти стихи «хлещущими». В действительности в слабых, трескучих стихах нет ничего от поэта Бальмонта. Это было очевидно для всех, кто любил его творчество и был шокирован неожиданной «пролетаризацией» рафинированного декадента. «Тяжело, сухо и неоригинально написаны „пролетарские гимны“ Бальмонта», — писал критик (цит. по: [22]). Брюсов гневно припечатывал поэта своим резким и весомым словом: «В какой же несчастный час пришло Бальмонту в голову, что он может быть певцом социальных и политических отношений, „гражданским певцом“ современной России!.../ Поэзии в них ни на грош» (см. [23]). Фельетонисты издевались: «Трехкопеечный Бальмонт... („пролетарские гимны“ выходили в дешевой библиотеке — О. М.) Бальмонт для многих, для всех...» (см. [24]).

Так или иначе, факт причастности, приверженности Бальмонта рабочему движению был налицо.

Любопытно, что Горького, прежде не признававшего «туманной мысли» Бальмонта, плохие рабочие стихи примирили с поэтом. Горький защищал Бальмонта от нападков буржуазной прессы. Он писал: «Невежественные. Они не знают, что Бальмонт давно предал проклятию, облил ядом презрения их суетливую, бесцельную жизнь, полную трусости и лжи, прикрытую выцветшими словами, тоскливую жизнь полумертвых людей. Им невнятен чистый восторг поэта, наконец увидевшего смелую, бодрую армию строителей новой жизни, красивой и свободной» (цит. по: [25]).

Однако, обнаружив, что отношение Бальмонта к революции внешнее, не глубокое, Горький отвернулся от него. (Возможно, Бальмонт раньше Горького понял, сколь разрушительна революция. Еще в ноябре 1905 г. он писал: «Социал-демократическая диктатура мне так же ненавистна, как и самодержавие, как и всякая власть») (цит. по: [26]). Позднее он обобщил свои наблюдения в книге «Революционер я или нет»: «Революция есть гроза преображающая. Когда она перестает являть и выявлять преображение, она становится Сатанинским вихрем слепого разрушения...» [27].

Стоит отметить, что отношения Горького и Бальмонта были предметом ряда статей, в частности, статьи в «Новом времени» [28], издании, которое Мициньский хорошо знал и из которого черпал материал для своей драмы (что отражено в эпилоге).

Крайне важно подчеркнуть, что в драме Мициньского нашлось место и случайному певцу революции — Бальмонту и ее верному, преданному сыну — Горькому. Знаменательно также то, что Мициньский, цитируя их в драме, четко расставляет идейные акценты: Горького читают матросы, а Бальмонта «декламирует» агитатор, социал-демократ.

Но почему Фельдман читает не бальмонтовский звонок «пролетарский гимн»? Да потому, что в канун поражения мятежа эйфория уступила место смятению. Но почему же он читает бальмонтовского Уайльда? Пора вернуться к этому вопросу.

И Уайльд уместен в драме Мициньского. Скандально известный эстет, он был также автором книги «Душа человека при социализме» (1891), пафос которой в утверждении безграничной любви к обездоленным, в искусственной силе слияния с чувствами других. Разумеется, Уайльд понимал идеальное общество будущего по-своему, как индивидуалист и эстет («Если бы бедные были не так безобразны, было бы гораздо легче разрешить социальный вопрос»; «Главное преимущество социального строя, при его водворении, будет заключаться в том, что он избавит нас от гнусной необходимости жить для других...» [29]), но ведь и драма Мициньского не дает никаких оснований полагать, что социал-демократ Фельдман понимал его ортодоксально. Учтем и другой факт: еще раньше,

в 1886 г., Уайльд подписал петицию о помиловании приговоренных к казни чикагских анархистов — факт, получивший широкую огласку. Но главное: «Баллада» Уайльда — это вопль о страдании. И о сострадании. Оно пробуждается в узниках Рэдингской тюрьмы, переживающих чужую трагедию, как свою.

Бальмонт считал, что в своей тюремной балладе Уайльд «изобразил ужасы неволи и чудовищность смертной казни с такой силой, какой не достигал до него ни один из европейских поэтов» [30]. Так воспринимали «Балладу» и многие другие (см., например, [31]).

Сопоставим еще раз даты: время действия и время создания драмы. Шмидт был арестован в ноябре 1905 г., приговорен в феврале 1906-го, приговор приведен в исполнение в марте 1906-го. В эти месяцы лейтенант Шмидт, другие повстанцы и вся сочувствующая им Россия ждали приговора, надеялись на помилование, потом оплакивали погибших. Драма печаталась в 1906 г., 4 и 5 акты — в августе-октябре.

Кажется, мы приближаемся к сути: «Князь Патемкин» *должен быть прочитан* через помещенную автором «у развязки» уайльдовскую «Балладу». Причем не только через цитируемый фрагмент, а через *все* произведение, включая и то, что осталось за строкой драмы, и через весь контекст (биографический, уайльдовский, и литературный — исторический, жанровый), и через дополнительные смыслы, и через подразумеваемые, не прописанные автором ассоциации. Ибо «Баллада» Уайльда, особенно прочитанная на русском фоне, не может не вызвать в памяти «Идиота» Достоевского (кстати, высоко ценимого Уайльдом) — вспомним полный ужаса и сострадания рассказ князя Мышкина о смертной казни, о лице «приговоренного за минуту до удара гильотины, когда он еще на эшафоте стоит: „Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводит? Надругательство над душой, больше ничего!“»; «...прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление».

Тень Достоевского не раз осеняет героев драмы: Шмидт — «рыцарь бедный», попавший в эпицентр разбушевавшейся стихии — на восставший броненосец; Вильгельм Тон, будто сошедший со страниц «Бесов», дискуссии Шмидта и Тона, истолкованные через «Карамазовых»... (Признаем, что в художественном отношении эти параллели не убедительны — сверхконкретное изображение мятежа диссонировало с «чистой», мировой, абсолютной идеей Достоевского; персонажи Мициньского не столь масштабны — им не под силу нести грандиозные идеи автора «Бесов». Однако «идеологически» эти параллели точны.)

«Интертекстуальность» драмы не исчерпывается референциями: Бальмонт — Уайльд — Достоевский. Допустимо предположить, что Уайльд, создавая «Балладу», имел в виду вполне определенный жанровый образец: баллады Кольриджа с их простотой и возвышенностью, и драматизмом, и эмоциональным накалом, и моральным пафосом. В свою очередь, Бальмонт был превосходным переводчиком английской поэзии: Шелли, Блейка, а позднее и Кольриджа.

И еще один литературный «персонаж» драмы Мициньского заставляет вспомнить Кольриджа. Это — Лермонтов.

Но вернемся от «археологической» работы к реальности текста. В «Князе Патемкине» есть и другие, часто звучавшие в годы революции имена писателей, сквозь призму идей которых осмыслились сложнейшие события 1905 г.

1903 г. Мициньский провел в Петербурге. Это был пик популярности Бальмонта. В этот год вышла его поэтическая книга «Только любовь» с эпиграфом из «Бесов» Достоевского («Я всему молюсь»), со знаменитым стихотворением «Отчего мне так душно? Отчего мне так скучно?», которое можно рассматривать как своеобразную реплику лермонтовского «И скучно и грустно», освещавшего «бездонные пропасти человеческого духа...» [32]. Немного раньше Бальмонт публикует посвященное Лермонтову, своему любимому поэту, стихотворение («К Лермонтову», сб. «Горящие здания», 1900):

Нет, не за то тебя я полюбил,
Что ты поэт и полновластный гений,
Но за тоску, за этот страстный пыл
Ни с кем не разделяемых мучений...

Лермонтовский дух одиночества и трагического разлада с действительностью, мужества и «преувеличенного чувства чести» витает в драме Мициньского над образом лейтенанта Шмидта. Во втором акте матросы хотят провозгласить его Царем Свободы («...только Бог и русский народ в тебе едином» [16, s. 27]), а он, словно не слыша их призывов, поет романс «Выхожу один я на дорогу...», как в бреду путая лермонтовские строчки с собственными, навеянными кошмарными видениями [16, s. 27—28]:

Wychodzę sam jeden na drogę —
przez złą mgłę krzemisty świeci brzeg —
noc wśród gwiazd — w pustyni mam pożogę —
gwiazdy lśnią, w Niagary wiecznych rzek.

И тут же Шмидт обреченно говорит: «Моя могила будет на берегу Черного моря, простой якорь, брошенный на камни, и маяк, освещающий во мраке путь всем кораблям, и имя его: Свобода!».

Между прочим, «Выхожу один я на дорогу...» п-своему развивает тему поэтического, так называемого тюремного цикла, написанного Лермонтовым во время пребывания под арестом за стихотворение «Смерть Поэта». Таким образом, оно вместе с последующей репликой Шмидта также «предупреждает» появление «тюремной баллады» Уайльда, является еще одним намеком на финал драмы — особенно если учесть, что «Выхожу один я на дорогу» подсказано Лермонтову гейневским «Смерть — это прохладная ночь...».

В драме работают не только использованные Мициньским строки из названного стихотворения. Они восполняются в сознании читателя (во всяком случае профессионального) следующим за ним лермонтовским вопросом: «Что же мне так больно и так трудно?», образом лирического героя его поэзии в целом и — проецируются на героя «Князя Патемкина». Имя Лермонтова в драме о революции связывается у читателя не только с «лишним человеком», его вечно тревожной душой, его «мученической мантией», но и с лермонтовским пониманием революции «как проявления силы /.../, как обнаружения того высокого зла /.../, которое родилось из одного источника с добром и обличает его бессилие. Это то зло, которое рождено „желанием блаженства“ и оборачивается, в конце концов, добром, потому что оно представляет собой демонстрацию против недостаточности добра, против его пассивности» [33].

Это, в свою очередь, закономерно связывает имена Лермонтова и Достоевского, стоящие рядом в драме Мициньского¹⁰. И если у Лермонтова мы ретроспективно находим «прообраз» героев Достоевского, то у Достоевского в «Бесах» — вокруг которых вращается дискуссия о целях и средствах революции в «Князе Патемкине» — есть прямая лермонтовская «защепка». Характеризуя Ставрогина, без которого не понять нервозного и бесстрашного, духовно раздвоенного и волевого Вильгельма Тона, Достоевский сравнивает его с Лермонтовым: «... в злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова».

С другой стороны, одна из главных тем творчества Лермонтова — тема сострадания, в том числе сострадания к злодею (вспомним хотя бы Арбенина), а эта ассоциация вновь возвращает нас к уайльдовско-бальмонтской «Балладе».

Складывается целая цепь позиций: Лермонтов — Достоевский — Горький — Бальмонт. В этой цепи нет случайных звеньев.

Насколько же глубоко был погружен в русскую культуру польский писатель, если сумел разместить в драме все эти позиции, и отвести каждой ее законное место, и накрепко связать их друг с другом. Именно так, неразъемно, в сложном сплетении они существовали и в русской действительности.

¹⁰ Исследователями убедительно показана связь типа Ставрогина с Печориним (см. [34]).

Таким образом, избранный писателем прием цитирования позволяет ему не только воспроизвести атмосферу русской жизни начала XX в., но и, избегая декларативности и непосредственной артикуляции собственной позиции, достаточно четко, явственно ее обозначить.

«Князь Патемкин» Мициньского призывает отозваться на страдания другого, очиститься. «рыдая в первый раз и над чужой судьбой» — над судьбой разгромленного восстания, приговоренных к смерти повстанцев. Этой центральной мысли в драме подчинено все. Анархия драмы оказывается мнимой. «Рассыпанная», на первый взгляд, структура на поверку оказывается сложной, но целостной, затейливой, но предельно целесообразной, логически и эстетически завершенной.

Прочтение «Князя Патемкина» через диалог основного текста с «привлеченными» текстами, с учетом широкого литературного контекста придает ей более глубокое измерение, расширяет перспективу восприятия, уточняет интерпретацию. «Интертекстуальное» прочтение проясняет тактику и стратегию писателя, обнажает метод его работы и, интегрируя значения отдельных фрагментов произведения, выявляет его высокий нравственный смысл. «Интертекстуальное» прочтение «Князя Патемкина» убеждает в том, что Мициньский, «priegiedowej czeławiek»¹¹ и бесстрашный художник-новатор, был верен букве российской истории, предан духу России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Налепинский Т.* Польская литература. «Нетота» — повесть Тадеуша Мициньского. — Аполлон, 1908, № 7, с. 2.
2. Польская поэзия. Т. 2. М., 1963, с. 135—136.
3. Польская художественная литература в русской и советской печати. Библиографический указатель. Т. 2. Wrocław, 1986, с. 220—221.
4. Утро России, 1917, № 62, с. 4.
5. *Wróblewska T.* Korespondencja Tadeusza Micińskiego. — Miesięcznik literacki, 1969, № 11, s. 115.
6. *Бялокозовиц Б.* Родственность, преемность, современность. М., 1988, с. 136—151; *Miciński J.* Wspomnienia z Moskiewskiego Teatru Kameralnego. — Dialog, 1962, n 5, s. 133—137.
7. *Wróblewska T.* Recepcja czyli nieporozumienia i mistyfikacje. — In: *Studia o Tadeuszu Micińskim.* Kraków, 1979, s. 47.
8. *Witkiewicz S. I.* Bez kompromisu. Warszawa, 1976, s. 155.
9. *Danek-Wojnowska B., Kłossowicz J.* Tadeusz Miciński. — In: *Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.* Ser. V. t. II. Warszawa, 1967, s. 271; *Wojnowska B.* Tadeusz Miciński. *Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny.* Warszawa, 1986, s. 662.
10. *Tyniecki J.* Inicjacje mistyka. Łódź, 1976, s. 203—205.
11. *Медведева О.* Правда факта и правда истории (драма Т. Мициньского «Князь Патемкин»). — В сб.: Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX в. М., 1989, с. 92—105.
12. *Яцимирский А.* Новейшая польская литература. От восстания 1863 г. до наших дней. Т. 2. СПб., 1903, с. 392.
13. *Горский Л., (Бальмонт Л.)* Современные общественные течения в польской литературе. — Вестник знания, 1903, № 1, с. 117—124; *Налепинский Т.* Письма из Польши. — Слово, 1908, № 50, с. 3; *Загорский Е.* Польская литература в 1909 г. — Аполлон, 1910, № 5, с. 3—5; *Закржевский А.* Новейшая польская литература. — Русская мысль, 1913, № 10, с. 27—28.
14. *Drogoszewski A.* Książ Patiomkin. — Książka, 1908, n 9, s. 372; *Oksza J.* Z literatury współczesnej. Warszawa, 1912, s. 201; *Irzykowski K.* Czyn i słowo. Kraków, 1980, s. 690; *Boy-Zeleński T.* Pisma. Т. 21. Warszawa, 1964, s. 581.
15. *Miciński T.* Książ Patiomkin. — Krytyka, 1906, n 10, s. 334.
16. *Miciński T.* Książ Patiomkin. Kraków, 1906, s. 108.
17. *Rzewuska E.* O dramaturgii Tadeusza Micińskiego. Wrocław, 1977.
18. Материалы по делу лейтенанта Шмидта. — ОР Центр. б-ки АН Литвы. Фонд Т. Врублевского. Сигн. F — 155 TV 409 (XI).
19. *Кирилл (Бржезовский А.)*. Одиннадцать дней на «Потемкине». СПб., 1907, с. 27.
20. *Бальмонт К.* Поэзия Оскара Уайльда — Весы, 1904, № 1; О любви. — В сб. Горные вершины. М., 1904; Об Уайльде. — Золотое руно, 1906, № 2; О. Уайльд и г. Бальмонт. — (подп. М.) — Русь, 1903, № 11, с. 3; *Стародум Н. (Стечкин Н.)*. Журнальное обозрение. — Русский вестник, 1904, № 3, с. 341—349; По поводу статьи Бальмонта об Уайльде. — Весы, 1904, № 1.
21. *Брюсов В. К. Д.* Бальмонт. — Собрание сочинений в 7 т. Т. 6. М., 1965, с. 265.

¹¹ Мициньский любил повторять: «Художник в Польше должен быть передовым человеком» [35]. Последние слова он всегда говорил по-русски.

22. Русская литература и журналистика начала XX в. (1905—1917)). М., 1984, с. 93.
23. Весты, 1906, № 9, с. 53.
24. Золотое руно, 1906, № 10, с. 91.
25. Бальмонт К. Стихотворения. Л., 1969, с. 629.
26. Орлов В. Перепутья. М., 1976, с. 203.
27. Бальмонт К. Революционер я или нет. М., 1918, с. 7.
28. Буренин В. Критические очерки.— Новое время, 1905, 2 декабря, с. 4.
29. Уайльд О. Душа человека при социализме. М., 1907, с. 5.
30. Бальмонт К. Избранное. М., 1983, с. 602.
31. Шоу Б. Оскар Уайльд.— Автобиографические заметки. Статьи. Письма. М., 1989, с. 195.
32. Белинский В. Полн. соб. соч. в 13 т. Т. 11. М., 1954, с. 442.
33. Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969, с. 198—199.
34. Бахтин М. Литературно-критические статьи. М., 1986, с. 522; История русского романа. Т. 2. М.—Л., 1964, с. 240—241; Левин В. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов.— Известия АН СССР. Сер. литературы и языка, 1972, т. XXXI, вып. 2, с. 142—156.
35. Witkiewicz S. J. O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Warszawa, 1976, s. 389.



О ПОСЛЕДНЕМ ИЗДАНИИ КАРЕЙСКОГО ТИПИКОНА СВ. САВВЫ СЕРБСКОГО

(анализ наборной транслитерации текста)

В «Советском славяноведении» [1] был опубликован отзыв В. П. Гудкова на новое издание одного из древнейших памятников сербской письменности конца XII — начала XIII в. — Карейского типикона (далее — КТ), представляющего собой устав, данный первым сербским архиепископом Саввой основанному им на Афоне скиту. Напомним, что речь идет об издании 1985 г. Публикацию древнейшей рукописи КТ подготовил академик Димитрие Богданович. Она воспроизведена в серии фототипических изданий, выпускаемых Сербской Академией наук, Национальной библиотекой Сербии и Матицей сербской [2]. Новое издание КТ выполнено на пяти бумажных листах, помещенных в виде свитка в цилиндрический футляр — имитация афонского пергаментного свитка и условий его хранения. Два листа содержат выходные данные издания и статью Д. Богдановича. На отдельных листах следуют цветная репродукция, наборное воспроизведение текста и его перевод на современный сербохорватский язык.

В статье В. П. Гудкова дается критическая оценка отдельных моментов, а также затронуты аспекты, представляющие потенциальный интерес для дальнейшей работы в этом направлении (в соответствующей югославской литературе нам известна пока только аннотация Л. Котарича [3]). Отмечается неточность, касающаяся перевода КТ на современный сербохорватский язык: «...первым переводчиком КТ назван Л. Миркович (1934), хотя первый опыт изложения КТ на современном языке принадлежит А. Гавриловичу (1900)». К сказанному можно добавить, что сам текст нового перевода, прилагаемого к изданию, не всегда следует оригиналу; ср., например: *мльбоу млимь се.* — КТ, 98 и соответствующее место в переводе на современный язык: *молим и захтевам*, где вместо 1 л. мн. ч. имеем ед. ч. Вносится уточнение по поводу позднейшей приписки в конце 113 строки типикона.

Особое внимание уделяется сверке некоторых мест в наборной транслитерации с соответствующими местами в тексте рукописи. Так, говоря об устранении Д. Богдановичем неточностей, присущих предшествовавшим публикациям текста древнейшей рукописи КТ, В. П. Гудков указывает на тот факт, что и само новейшее издание, к сожалению, не безупречно. Он приводит следующие примеры расхождения наборного и рукописного текста: *довольно* вместо реального *довольне* в 20-й строке КТ; *оутрени* вместо *оутръни* на переносе со строки 64 на 65. Приводятся также веские доводы в пользу неправомочности восстановления глагольной формы

Числов Илья Михайлович — аспирант сектора славянского языкознания Института славяноведения и балканистики АН СССР.

во 2-й строке КТ как *глеть*. Поскольку реконструкция древнейшего текста и устранение различного рода неточностей имеет принципиально важное значение для исследований любого рода, связанных с анализом этого оригинального памятника сербской письменности, мы считаем целесообразным специально остановиться на данном вопросе. Используя имеющиеся в нашем распоряжении источники: черно-белые фотографии КТ, сделанные в 1858 г. на Афоне русской научной экспедицией под руководством П. И. Севастьянова (в настоящее время хранятся в отделе рукописей библиотеки им. В. И. Ленина; фонд П. И. Севастьянова); данные всех изданий древнейшей рукописи [4], включая последнее (список А по терминологии В. Чоровича), а также данные изданий еще 4 позднейших списков КТ [5—9] (соответственно обозначенных Б, В, Г и Д), мы пришли к заключению, что:

1. Справедливо утверждение о необходимости написания *довольне* вместо *довольно* в 20-й строке КТ. Это подтверждают черно-белые фотографии. Три предшествующих издания древнейшей рукописи, а также оба издания списка Б и издание списка Д имеют *довольне*. Наконец, в издании К. Петковича (список В) находим: *и въ Карей келлиу доволны*, т. е. опять же наблюдаем прилагательное; аналогично в издании Д. Мушицкого (список Г): *и въ Карей, келлиу доволни* и у Шафарика: *келлие доволни* [10].

2. Нет сомнения, что на переносе со строки 64 на 65 стоит *оутръни* (*оутрени* встречаем лишь в самом первом издании древнейшей рукописи, у Л. Стояновича же и у Чоровича, а также в издании Д. Даничича — список Д отличается наибольшей близостью к тексту предполагаемого оригинала — имеем *оутръни*). Это слово, так же, как и предыдущий пример, на фотографиях Севастьянова видно достаточно четко. В пользу подобного написания говорят и другие примеры в тексте КТ: *оутръна* — строка 64; *сь оутрънею* — строка 67; *оутръни* — строка 83, на что обращает внимание В. П. Гудков (так во всех изданиях древнейшей рукописи, кроме самого первого, выполненного архимандритом Леонидом (Кавелиным), где есть два неверных написания: строка 67 — *сь оутренею*; строка 64 — *оутръни* вместо *оутръна*, что в нашем случае принципиального значения не имеет).

3. Во второй строке типикона следует, по-видимому, читать не *глеть*, а *вѣщаеть*. Как уже отмечалось [1, с. 78], в тексте КТ после согласных йотированные буквы не употреблялись (ср. *гдѣре глеть се* — КТ, 73, где ту же самую словоформу мы встречаем без йотированного *е*). Кстати, в первом издании древнейшей рукописи мы имеем: *ѣко же вѣщаеть*, где значок *ѣ* соответствует йотированному *е*. Форма же *глеть* заимствована, очевидно, из изданий Стояновича и Чоровича. На цветной фотокопии издания Богдановича начальные 33 строки текста практически не читаются. Судя по ней, в настоящее время памятник находится в значительно худшем состоянии, чем 130 лет назад, когда были сделаны черно-белые снимки Севастьянова. На них можно ясно различить три последние буквы этого слова: ... *ietь*; перед *ie* стоит буква, которую с одинаковым успехом можно принять и за *л*, и за *а*, так как нечеткость текста еще больше увеличивает схожесть в начертании этих двух знаков при уставном письме; перед ней же мы наблюдаем значок, напоминающий высокую омегу (графика памятника знает только низкую омегу), что в данном случае подтверждает догадку насчет *щ* (эти графемы обычно совпадают по ширине, имеют по три вертикальных линии). В пользу подобной реконструкции свидетельствуют и поздние списки: *вѣщтаietь* (Д); *вѣшита* (Б 1); *вѣштаietь* (Б 2).

Невыясненным остается вопрос об употреблении в этой глагольной форме *ѣ* или *е*. Обращение к фотоснимкам ответа на него не дает. Смутные контуры на фотографиях Севастьянова свидетельствуют скорее в пользу второго варианта (см. издание арх. Леонида). К сказанному можно

добавить, что хотя в издании Д. Даничича мы имеем форму *вѣштаіеть*, в рукописи списка Д стоит *вещаетъ* [9, с. 140]. Однако в этом случае данная словоформа была бы единственным примером на употребление *e* вместо этимологического *ѣ* в тексте памятника. Как известно, одна попытка подобного рода со всеми вытекающими отсюда последствиями уже была предпринята, когда в издании Стояновича, а затем и Чоровича форма *оу мѣстѣ* в 109 строке КТ была восстановлена как *оу мѣсте*. В дальнейшем же была доказана несостоятельность такой реконструкции [11], и в издании Богдановича эта ошибка уже не фигурировала.

Кроме того: 4. В строке 4 КТ, следует читать: *не възиде...* (в издании Богдановича пропущен *ь*, который вполне различим на снимках Севастьянова). Подобное написание без *ь* отмечено лишь в самом первом издании: древнейшей рукописи (*не възиде*).

5. В строке 10 КТ следует читать: *малъ бо ієсть* (у Богдановича: *малъ ієсть*); этой неточности нет ни в одном из предыдущих изданий.

6. В строке 19 КТ следует читать: *вл^дцѣ нашеіе бѣе присноб^двы марііе* (у Богдановича: *в^длцице нашеіе бѣе присноб^двы марїи*). Помимо фотоснимков в пользу написания *вл^дцѣ* говорит и издание Стояновича, где сокращения сохранены, а надстрочные буквы оставлены на своих местах: *вл^дцѣ*. Отсутствие *и* подтверждает и издание Чоровича: *вл(а)д(и)ч(и)цѣ* (курсив мой — И. Ч.).

Что же касается второго слова, то здесь мы последовательно встречаем *марііе* во всех изданиях древнейшей рукописи, а также в списке Д (на фотографиях Севастьянова имеем: *маріі^ѣ*, т. е. вторая от конца, вне всякого сомнения, — *и*; последняя же буква, очевидно, *е*). Окончание *-е* находим также и в обоих изданиях списка Б, и в отрывке из позднего списка КТ, опубликованном Шафариком: *Марїе* и *марііе* соответственно.

7. В строке 20 следует читать: *келіе* (у Богдановича: *келііе*). Употребление в этом слове йотированной буквы мы наблюдаем только у арх. Леонида.

8. В строке 49 следует читать: *якоже и прѣ^дже писахомъ* (в наборном тексте издания Богдановича надстрочная буква спущена в строку: *прѣжде*); ср. у Стояновича: *прѣж^де*.

9. На переносе со строки 79 на 80 следует читать: *рекъше* (в наборном тексте пропущен *ь*, который виден на черно-белых снимках в конце 79 строки, хотя и выглядит значительно бледнее соседних букв). Эту погрешность мы встречаем лишь в самом первом издании древнейшей рукописи.

10. На переносе со строки 80 на 81 следует читать: *кано^н. агрип^нніне*. У Богдановича: *кано^н. агрип^нніне*. Подобное написание встречается только у Н. Дучича в его втором (исправленном) издании списка Б: *канонъ агрип^нніне*. Все же остальные издания, как древнейшей рукописи, так и позднейших списков, дают нам иные, часто отличающиеся друг от друга варианты: *канонъ агрип^ншніне* (арх. Леонид); *кано^н. агрип^нніне* (Стоянович); *канон(ъ) агрип^нніне* (Чорович); *канонъ агрип^ніе* (Б 1). Списки В и Г, обнаруживающие значительные расхождения с текстом древнейшей рукописи и по этой причине обычно малопригодные для нашего анализа, в данном случае как раз заслуживают внимания. Мы имеем: *каконъ агрип^ннійный* (В); *канонъ агрип^нніиный* (Г). И, наконец, существенную помощь оказывает нам издание Даничича, вернее не само издание, а рукопись (список Д), ибо у Даничича, стремившегося в первую очередь к реконструкции текста протографа, находим: *канонъ агрип^нніе*. Однако в сноске к вос-

становливаемому им тексту он отмечает, что в рукописи стоит *агрипниине*. Сам Даничич, правда, не придавал этому большого значения, предполагая, что «в рукописи *агрипниине* может быть вместо *аргипниинь*» [9, s. 142], так как других изданий КТ, кроме уже упомянутых изданий Мушицкого и Петковича, в то время не существовало. Надстрочное *и*, о котором трудно судить по цветной фотокопии, просматривается на черно-белых снимках Севастьянова. Над последней буквой в 80 строке видны контуры надстрочной буквы (о титле говорить не приходится; надстрочные двоеточия над *н* не ставятся). Эти смутные очертания, одинакового размера с надстрочным *н* в слове *кан*^н в той же строке, являются, вероятно, ни чем иным, как надстрочным *и*. В пользу такого заключения свидетельствуют, как уже было отмечено, и примечания Даничича к изданному им списку Д. Вообще же надстрочные буквы в конце строк, как под титлом, так и без титла, — обычное явление для КТ.

11. В строке 93 КТ, видимо, следует читать: *глемоие* (у Богдановича: *глюще*). На снимках Севастьянова можно ясно различить первые три буквы: *гле...* За ними угадываются смутные контуры, напоминающие *м*. Ни одно из предшествовавших изданий версии Богдановича не подтверждает: *глаголемое* (А 1); *глаго* *лемоие* (А 3); *глемоие* (А 2). Аналогичные формы наблюдаем в Б 1, Б 2, Д. В случаях В и Г встречаем замену на *господне*.

12. На переносе со строки 110 на 111 следует читать: *ѡца* (у Богдановича: *ѡтца*). Ср. *ѡца* (А 2); *ѡ(ть)ца* (А 3). В А 1 имеем *Отца* (в издании арх. Леонида не воспроизведены сокращения, имеющиеся в рукописи).

На пятом (самом крупном) фотоснимке Севастьянова, воспроизводящем последние строки рукописи с подписью и печатью, ясно видно, что: *ѡ* — последняя буква в 110-й строке, за которой больше ничего нет; над ней стоит надстрочное двоеточие; над *ца* в самом начале 111-й строки стоит точка, точно такая же, как и над словом *ѡта* (= *доуха*) в этой же строке, т. е. мы имеем дело с титлом. (Такой вывод можно сделать, учитывая характерную для КТ форму титла. Над сокращенными словами стоит титло в виде слабозаметной тонкой черточки, украшенной посередине точкой).

Издание Богдановича дает нам еще один пример данной словоформы:

стго и *прпбнаго ѡца нашего савы* — КТ 23—24. Однако, обратившись к черно-белым фотоснимкам, видим, что неясные очертания над *ѡ* в конце 23 строки (позиция — та же, благоприятная для вынесения надстрочной буквы, только вот в 110-й строке наборного текста было почему-то предложено иное решение) напоминают надстрочное двоеточие. К тому же, в начале 24 строки (снова над *ца*) мы опять наблюдаем нечто похожее на титло (теперь уже не просто точка, а тонкая, с трудом различимая черточка, на которой точка едва угадывается). Возможно, это просто нечеткое место в рукописи (в разряд настоящих «темных мест» оно не попадает), но как тогда объяснить столько совпадений? В противном же случае сомнений ничуть не меньше, а серьезных аргументов нет. Поэтому есть основания предположить, что и здесь мы имеем *ѡца*.

13. В строке 3-й наборного текста КТ имеем: *аплъ павль*. Но в издании Стояновича, выполненном также с сохранением надстрочных букв, находим *ап^сль*, иначе говоря, в рукописи над *п* должно стоять надстрочное *с*. Сверившись с фотоснимками, обнаруживаем, что над первыми двумя буквами этого слова нет и следа диакритических знаков. Но дальше, судя по снимкам, пергамент сильно потемнел, поэтому сделать подобный вывод по отношению к двум последним буквам данного слова не представляется возможным. В то же время в рукописи (и в наборном тексте) имеем: *къ стымъ ап^сль* КТ 62. Исходя из вышесказанного, считаем целесообразным восстановить данную словоформу как *аплъ*, вынеся над строкой *с* под титлом.

В связи с этим следует также заметить, что в наборном тексте надстрочные буквы часто стоят не над теми строчными буквами, над которыми мы их встречаем в рукописи. Приведем несколько примеров:

Строка КТ	Издание Д. Богдановича	На снимках П. И. Севастьянова
54	д срѣ	д срѣ
55	к четверть ^с	к четверть ^с
70	поклонимь.	поклонимь.
85	д сблне	д сблне и т. д.

Мы, естественно, не учитываем те случаи, когда надстрочная буква стоит не строго над определенной строчной, а как бы посредине между ней и соседней. К числу многочисленных написаний такого рода относится, например, употребление надстрочного *т* под титлом в слове *помь* (строки 81, 80, 82, 85 дважды и др.).

14. На переносе со строки 95 на 96 в издании Богдановича читаем: *сего ради бдите. трюди бо плодь своихъ снѣсте*. На снимках Севастьянова последние две буквы в слове *тroy...* весьма неразборчивы, хотя смутные контуры одной из них больше напоминают *ь*, чем *и*. В предыдущих изданиях имеем: *тroyдь бо плодь своихъ снѣсте* (А 1); *тroyди бо плодь своихъ снѣсть* (А 2. А 3). Этот вариант мы находим еще и в двух изданиях списка Б (в первом: *...снѣиесть*). Богданович, заменив в последнем слове *ь* на *е* (что подтверждают черно-белые фотографии), в остальном принял версию Стояновича и Чоровича. Тем не менее более убедительной выглядит реконструкция, предложенная арх. Леонидом. В самом деле, при буквальном переводе этой фразы, сохраняя порядок слов: «трудоу же плод своих вкусите» (наст. вр. в значении будущего) она все равно не обесмысливается, чего не скажешь о втором варианте, который в этом отношении мало понятен. Кроме того во всех оставшихся списках, привлекаемых нами для анализа, мы тоже встречаем род. мн.: *тroyдь бо плодь своихъ снѣсте* (Д); *плода бо тroyдоуъ своихъ снѣсте* (В); *плоды бо тroyдоуѣвъ своихъ снѣсте* (Т). Наконец, данная конструкция присутствует не только в различных списках КТ. Она встречается и в другом произведении св. Саввы — Хиландарском типиконе: *тroyдь плодь своихъ снѣси* [12]. Все вышесказанное дает основания для принятия варианта, предложенного в самом первом издании древнейшей рукописи: *тroyдь бо плодь своихъ снѣсте*.

15. И, наконец, последний пример, представляющий значительный интерес для палеографического и текстуального анализа и так и не проясненный до конца. На переносе со строки 13 на 14 в наборном тексте имеем: *на подвизаниіе ѿховноіе*. Сомнение вызывает буква *и* в конце 13 строки. На черно-белых фотоснимках мы видим следующее: *подвизані* (точки просматриваются отчетливо, но в то же время место это сильно потемнело, поэтому не исключено, что они могут быть и случайного происхождения). В предыдущих изданиях обнаруживаем *подвизаниіе* (А 1); *подвизаниіе* (А 2); *подвизаниіе* (А 3). Казалось бы, издания Стояновича и Чоровича подтверждают наше предположение, но есть доводы и против.

В тексте КТ в конце строк употребляются иногда нетрадиционные лигатуры. Например, последнее слово в 113 строке на снимках Севастьянова выглядит так: *рукописан'іе* (ни одно из изданий таких особенностей не фиксировало, прежде всего по техническим причинам). Кстати, к данному типу относится и написание отрицательной частицы *ни* в конце 49 строки КТ (*а манастырь ни игоумень да не имать...* КТ 49—50), имеющий вид *н·и* на фотографии. Данное написание также можно было бы принять за *ни*, где вторая буква *і* [11, с. 7], но на фотоснимке отчетливо видна точка, которая, судя по всему, украшает слаборазличимую (фактически невидимую) поперечную линию. Это характерная особенность почерка данной рукописи (хотя *и* и не всегда отмечено посередине точкой). Следовательно,

ни в наборном тексте соответствует N + I в рукописи (здесь мы для большей наглядности единственный раз отступаем от принятых нами условных обозначений некоторых графем).

Все вышесказанное и заставляет скептически подходить к возможности реконструкции данной словоформы (*на подвижание*) с *i* вместо *u*, тем более, что в тексте рукописи эта буква употребляется лишь дважды: в цифровом значении: *no. vi. meta*ⁿ. КТ 74; в слове «Иисус»: *is x̄m̄* КТ 104, т. е. в особых случаях, не аналогичных нашему.

В заключение стоит добавить, что многие места в издании Д. Богдановича по фотоснимкам, сделанным экспедицией П. Севастьянова, проверить невозможно. Уже в то время, судя по данным фотографиям, рукопись находилась в неважном состоянии: местами сильно потемнела, кое-где была даже порвана. К. П. Дмитриев-Петкович, посетивший Карейскую келью еще до Севастьянова, в октябре 1852 г., сообщает о двух первых строках рукописи, «стертых и изорванных» [8, с. 7]: На несколько плохо читаемых верхних строк памятника указал и арх. Леонид (Жавелин). Об этом наглядно свидетельствуют и снимки Севастьянова. В издании Богдановича предполагаемый текст взят в скобки. Мы не претендуем на безупречную полную реконструкцию, однако преимущество черно-белого изображения перед цветной репродукцией позволяет внести некоторые коррективы и здесь:

Строка КТ	Издание Богдановича	На снимках Севастьянова
2	<i>творе ци.м...</i>	<i>творец...</i>
4	<i>не в зиде хе оуго тоса</i>	<i>не в.з...готова</i>
47	<i>да по сил а иеть се</i>	<i>да посилаиеть се</i>
110	<i>троиц е ѿт —</i>	<i>троице ѿт —</i>

С другой стороны, немалое число примеров в издании Богдановича может быть подвергнуто сомнению. Так, пользуясь цветной фотокопией (и черно-белыми снимками), нельзя заключить о написании: *u* в слове *оузимати* КТ 107; *ia* в слове *иасть* КТ 62 и др. В строке 29 КТ имеем: в наборном тексте — *имать*, на фотоснимках же — *и...ть*, т. е. констатировать наличие *a* в данной глагольной форме мы не можем, а ведь учитывая тот факт, что для КТ характерны параллельные формы *имать/иметь* [13], *имать* — КТ 27, 48, 50; *иметь* — КТ 31, 106, 107, нельзя исключить и иной вариант.

Есть и более мелкие неточности. Например, в строке 71 в наборном тексте отсутствует точка после слова *мемонѣ*, о существовании которой можно судить по черно-белым фотографиям. В строке 30, по-видимому, должно быть *стго* вместо *стго*. Это слово в КТ всегда пишется под титлом (строки 20, 23, 28, 43, 111), к тому же и в данном случае фотоснимок не подтверждает его отсутствия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гудков В. П. Новое издание Карейского типикона Саввы Сербского. — Советское славяноведение, 1988, № 1.
2. Карейски типик светога Саве. Фототипска издања, 8. Београд, 1985.
3. Котарчић Л. Ново издање Карейског типика св. Саве. — Археографски прилози, 8. Београд, 1986.
4. Леонид, архимандрит. Историческое описание сербской царской лавры Хиландаря и ее отношений к царствам сербскому и русскому. — ЧОИДР, 1867, кн. 4. М., 1867; с. 133—136: Споменик Српске краљевске академије. Т. III. Београд, 1890, с. 163—164; Списи св. Саве. Издао их др Владимир Ђоровић. Београд — Сремски Карловци, 1928, с. 5—13.
5. Гласник српског ученог друштва. кн. 56. Београд, 1884, с. 37—51.
6. Голубица, II, Београд, 1840, с. 247—251.
7. Дучић Н. Књижевни радови. 4. Београд, 1895, с. 48—54.
8. Дмитриев-Петкович К. П. Обзор афонских древностей. — Записки Имп. Академии наук, т. VI. Приложение. С.-Петербург, 1865.
9. Knjizevnik, godina treća. Zagreb, 1866.
10. Schaffarik P. J. Serbische Lesekörner. Pesth, 1833. s. 119.
11. Гудков В. П. Карейски типик св. Саве као споменик историје српскохрватског језика. — Научни састанак слависта у Вукове дане. II. Београд, 1981, с. 8.
12. Азбучни показатељ речи у списима светога Саве, Београд, 1988, с. 177.
13. Krížková H. Vývoj opisného Futura v jazyčích slovanských. Praha, 1960, с. 127—128.



ЕФИМОВА В. С.

К ОТКРЫТИЮ СОБРАНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ НА СИНАЕ

(в связи с публикацией монографии: I. Tarnanidis.

The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at
St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988)

Последние десятилетия радуют славистов рядом блестящих открытий древнейших памятников славянской письменности. В 1960 г. был обнаружен Енинский апостол — древнейшая рукопись славянского апостола (XI в.) [1]. В результате археологических раскопок найдено огромное количество надписей IX—XI вв. — как кириллических, так и глаголических, а также берестяных грамот (см. [2; 3; 4; 5] и др.). Значительный материал по изборному евангелию — первой книги, переведенной с греческого языка на славянский — введен в научный оборот открытием и изучением палимпсестов. Так, к 1972 г. И. Добревым был прочитан Боянский палимпсест [6]. В 1971 г. Г. Лантом и М. Альтбауэром в монастыре св. Екатерины на Синае был найден еще один палимпсест (Синайский фрагмент), датируемый XI в. и палеографически близкий к Сборнику Клоца [7]. В 1982 г. был открыт Ватиканский палимпсест, содержащий текст изборного евангелия, возможно, наиболее близкий к первоначальному переводу св. Кирилла и еще только ждущий своего настоящего изучения [8].

В конце 70-х годов стали поступать известия об эпохальном открытии целого собрания древних рукописей (греческих, арабских и славянских) в монастыре св. Екатерины на Синае. В августе 1980 г. на Втором коллоквиуме по староболгаристике проф. М. Альтбауэр, получивший разрешение осмотреть славянские рукописи недавно открытого собрания, впервые сообщил об обнаруженных им рукописях исключительной ценности — части Добромирова евангелия XII в., русской псалтыри XI в., сербской псалтыри XIII в. Однако настоящую сенсацию произвело заявление М. Альтбауэра, что в пергаменных листах, принимаемых монахами за грузинские рукописи, он узнал древнейшие славянские глаголические рукописи. (М. Альтбауэр решил тогда, что они представляют собой две рукописи X в. и четыре листа Синайского евангелия) [9].

В ноябре 1980 г. руководство Синайского монастыря св. Екатерины предложило исследовать славянские рукописи И. Тарнанидису, профессору Университета в Фессалониках, президенту университетского Центра византийских исследований, генеральному секретарю Эллинистической ассоциации по славянским исследованиям. В течение 1981—1984 гг. проф. И. Тарнанидисом были рассортированы, классифицированы, пронумерованы и сфотографированы 41 славянская рукопись XI—XV вв. Сегодня мы имеем монографию, в которой проф. И. Тарнанидис излагает

предварительные результаты своего исследования. Основная цель монографии — представить описание недавно открытых в монастыре св. Екатерины рукописей в соответствии с принятым международным стандартом и дать славистам возможно более полное представление о содержании рукописей, их языковых особенностях, о перспективах, которые может открыть дальнейшее их изучение славистами разных специальностей, а также сделать первые выводы и обобщения историко-культурного и текстологического характера, возможные уже на данной стадии исследования. Особый интерес представляет последний раздел монографии, в котором воспроизводятся фотографии наиболее древних и ценных рукописей из числа открытых (а именно части Синайского евхология, Синайской псалтыри, Добромирова евангелия, русской псалтыри XI/XII в., сербской псалтыри XIII в.), что дает возможность славистам уже сейчас использовать эти тексты для исследования. (Публикация фотографий важна также и тем, что обеспечивает надежную информацию о рукописях и позволяет заметить ошибки издания. Например, на фотографии первого листа евхология ясно видно *благодѣтиж* (глаголицей), тогда как в описании рукописи (р. 75) дано *благодатиж*).

Недавно открытые славянские рукописи («новое» собрание по терминологии автора монографии) и уже известные славянские рукописи из библиотеки Синайского монастыря св. Екатерины («старое» собрание) входили когда-то в единое собрание рукописей, что явствует из того, что некоторые рукописи «нового» собрания являются фрагментами «старого» собрания. Тем не менее в составленных ранее каталогах и описаниях рукописей библиотеки Синайского монастыря нет даже упоминания о рукописях и фрагментах нового собрания. Так как первое описание славянских рукописей Синайского монастыря было сделано, как известно, архимандритом Порфирием Успенским после его визита на Синай в середине прошлого века, следует считать, что открытые недавно рукописи и фрагменты были отделены и спрятаны по неизвестным причинам в склепе церкви св. Георгия еще до первого посещения Синайского монастыря Порфирием Успенским. Противоречивые слухи, в течение многих лет будоражившие славистический мир, о ценности открытых рукописей, их содержании, значении, типе и т. п. объясняются хаотическим состоянием нового собрания (например, глаголические рукописи были перемешаны с фрагментами арабских), что неудивительно, так как первоначально рукописи были рассортированы монахами, не знавшими языка. Сначала количество славянских рукописей нового собрания оценивалось в 20 единиц, но при последующем более тщательном изучении их содержания автором монографии выяснилось, что найдена 41 рукопись.

Из 41-й рукописи 5 — древнейшие глаголические, остальные рукописи кириллические. Большая часть кириллических рукописей относится к XIII—XIV вв. 25 рукописей, по определению И. Тарнанидиса, являются по происхождению сербскими, есть также рукописи русского и болгарского происхождения. В отношении содержания среди кириллических рукописей особенно интересны сборники смешанного содержания, Житие Василия Нового (1370 г., болгарского происхождения), гимнографические сборники сербского происхождения, несколько списков псалтыри. Это богатство содержания рукописей и в ряде случаев достаточно большой их объем обещают уникальную информацию историкам культуры, литургистам, не говоря уже о филологах, текстологах и лингвистах. Значительная информация содержится также в различных пометах и приписках. Например, содержание приписок на недавно открытых рукописях позволяет, по мнению И. Тарнанидиса, с определенностью говорить о существовании на Синае славянского скриптория (см. р. 49).

Хотя открытие каждой из 41-й рукописи нового собрания является важным вкладом в палеославистику, поистине сенсационным представляется обретение пяти древнейших глаголических текстов. Вполне понятно поэтому, что акцент в изложении результатов предварительного исследования в монографии сделан именно на их описании.

Две глаголические рукописи оказались частями (как считалось ранее,

утраченными) хорошо известных глаголических рукописей — Синайского евхология и Синайской псалтыри. Идентификация 28 листов евхология нового собрания как части известного Синайского евхология не оставляет сомнений. Единственная сохранившаяся целиком тетрадь евхология из нового собрания (листы 5—12 по нумерации автора монографии) имеет номер 19, тогда как известная ранее часть рукописи начинается с тетради № 20. При этом слово *видѣвъше* из текста молитвы Софрония *...вышънихъ вещей тварь видѣвъше. разоумѣхомъ...* (что соответствует греческому Οἱ τῶν ἀποστόλων στοιχείων τῆν κτίσιν ἀδροῖσαντες, ἔγνωμεν...) поделено между недавно найденной и известной ранее частью: *ви-* приходится на конец тетради № 19, а *-дѣвъше* — на начало тетради № 20. Листы 13—19 евхология из нового собрания, содержащие чтения из апостола и евангелия на дни недели со вторника по воскресенье, естественно продолжают известную рукопись Синайского евхология, обрывающуюся на чтениях на понедельник. Листы 20—28, содержащие чтения апостола и евангелия при различных обстоятельствах и чтения на полный календарь церковных праздников, И. Тарнанидис идентифицирует как относящиеся к заключительной части евхология, основываясь на общей структуре греческого евхология, несомненно служившего образцом для евхология славянского. Греческому евхологии того времени (IX—XI вв.) был свойствен довольно свободный порядок следования частей (см. [10; 11], также [12]). Однако, по наблюдениям И. Тарнанидиса, при этом всегда оставались неизменными две характерные черты этого сборника: первая часть содержала литургию Василия Великого или Иоанна Златоуста (или обе), а в заключительной части рукописи помещались чтения на цикл церковных праздников. Сравнение с недавно открытой частью Синайского евхология окончательно решает, по мнению автора монографии, вопрос, вызвавший так много споров, о принадлежности к этой рукописи трех листов, вывезенных в свое время из Синайского монастыря П. Успенским и Н. П. Крыловым. Более того, исходя из структуры греческого и славянского евхология, И. Тарнанидис приходит к заключению, что эти три листа являются небольшим отрывком из первой, литургической части сборника и тесно связаны с первыми четырьмя листами евхология нового собрания, содержащими молитвы на часы, вечерню и заутреню. Эти четыре листа имеют те же самые, что и остальная часть Синайского евхология, кодикологические значения (размеры, почерк и т. д.), однако порядок следования молитв на них не совпадает с обычным порядком следования молитв в греческом евхологии и, возможно, соответствует порядку следования молитв в греческой хорологии (если первоначально листы располагались в следующем порядке: молитвы на заутреню, часы, вечерню). В связи с этим И. Тарнанидис высказывает гипотезу о влиянии греческого хорология (часослова) на славянский перевод литургической книги, указывая при этом (как на косвенное, но важное доказательство) на место из Жития св. Кирилла, где сказано, что по прибытии в Моравию *въскорѣ же сѧ весь црѣковный чинъ прѣложи, и наоучи, а оутреини и годинамъ, обѣднѣ, и вечерни, и павечерници, и таинѣ слоужбѣ* (см. р. 72). Гипотеза о влиянии греческого хорология, сохранявшего типикон св. Саввы, на славянский перевод евхология представляется интересной и заслуживающей рассмотрения, особенно если учесть, что в IX в. влияние Палестинского монастырского типикона на устав Великой церкви было достаточно сильным. Заслуживает также внимания предположение И. Тарнанидиса, что в порядке следования в Синайском евхологии апостольских и евангельских чтений, не совпадающем с порядком их следования в других греческих и славянских литургических сборниках, сохранена подлинная кирилло-мефодиевская традиция (см. р. 79). Во всяком случае не приходится сомневаться, что дальнейшее изучение в этом аспекте неизвестной ранее части Синайского евхология даст бесценную информацию литургистам, текстологам, исследователям кирилло-мефодиевской традиции.

Изучение недавно открытых 28 листов Синайского евхология обещает богатый «урожай» также лексикологам и лексикографам. Даже при беглом просмотре текста можно отметить такие неизвестные до сих пор в ста

рославянском языке (т. е. по рукописям X—XI вв.) лексемы, как *възгласъ*, *ревънование* и др. На листах, содержащих апостольские чтения, встречаются лексемы, известные ранее только по более поздним спискам апостола: *вечернии*, *епистолия*, *напастънии* и др.

И. Тарнанидис считает возможным приблизительно определить первоначальный объем Синайского евхология в 298 листов. Из них мы теперь располагаем 137 листами. Реставрация недавно найденных листов и подготовка нового критического издания этого важнейшего памятника старославянской письменности осуществляется в настоящее время. Предполагается, что в новое издание будут включены кириллическая транслитерация текста, комментарий и греческий оригинал.

Найденная часть Синайской псалтыри представляет собой 32 листа из заключительного раздела этой самой древней глаголической рукописи псалтыри. Эта часть состоит из четырех тетрадей с первоначальной глаголической нумерацией с 23 по 26 и содержит псалмы Давида (с № 138 по № 151), библейские песни (включая и молитвы Езекии, Манассии и Симеона), Отче Наш, песнь утренняя (*слава въ вышнихъ б<ог>оу...*) и чин вечерни. Таким образом очевидно, что Синайская псалтырь представляла собой псалтырь с воследованием, однако и сейчас невозможно окончательно определить ее объем, так как рукопись обрывается и неизвестно, содержала ли она какие-либо еще службы или кончалась на вечерне. Записанный в этой части рукописи чин вечерни имеет исключительно важное значение не только для изучения древнейшей славянской псалтыри, но и вообще для изучения литургической традиции, переданной славянам Солунскими братьями. Как отмечает И. Тарнанидис, представленный здесь типикон вечерни совпадает с Палестинским монастырским типиконом, который, как известно, интенсивно проникал в монастыри Константинополя в IX в. Этот факт дает, видимо, неопровержимое доказательство в руки тех исследователей, которые считают источником первого славянского перевода псалтыри греческий оригинал. Кроме того, найденный текст дает также и важнейшее лингвистическое доказательство, указывающее на греческий источник перевода, а именно употребление термина *есперинъ* = греч. *ἐσπερινός* (см. f. 31v: *чинъ есперинѣ. сирѣчь веч<ер>ънии*).

Еще одну рукопись псалтыри, написанную круглой глаголицей, автор монографии назвал «псалтырью Дмитрия Олтарника», так как последнее слово в приписке на первом листе *азъ дѣмтрѣ грѣшникѣ ол* расшифровал как *олтарьникъ* = греч. *ὄψιματάρης*. Эта рукопись в 145 листов содержит все псалмы Давида (151 псалом). Конец рукописи испорчен, отсутствуют и библейские песни, поэтому невозможно точно определить первоначальный объем рукописи. Фонетические и орфографические особенности (смещение «еров» с преобладанием ъ, тенденция к вокализации «еров», употребление всех «юсов», тенденция к деназализации и употреблению ю), а также некоторые другие черты рукописи, рассмотренные автором монографии, указывают на принадлежность этой рукописи к южнославянским, скорее всего к сербским. Значительные колебания в орфографии и использование временами кириллицы (главным образом, в заголовках) говорят о том, что датировка этой рукописи должна быть более поздней, чем датировка Синайской псалтыри. Вместе с тем предварительное сравнение рукописи с другими славянскими рукописями псалтыри XI—XII вв. (Синайской, Погодинской, Болонской, Чудовской), проведенное И. Тарнанидисом, показывает близость ее к Синайской псалтыри, причем последняя является, видимо, ее первоисточником (см. р. 98). К сожалению, читателю монографии невозможно составить непосредственное представление об этой рукописи псалтыри, так как в описании рукописи текст самой псалтыри не приводится (за исключением начальных слов первого листа и последних слов последнего листа), нет и фотографий ее в последнем разделе монографии. Однако наиболее замечательным и уникальным в этой рукописи являются, возможно, тексты, не относящиеся непосредственно к самой псалтыри. Это приписки владельца рукописи Дмитрия Олтарника и медицинские предписания на вставных листах. Приписки заполняют все пространство, оставленное первоначально писцами, види-

мо, для рисунков и миниатюр. Для автора этих приписок глаголица была настолько обычным письмом, что он предпочитает ее кириллице даже в своих частных заметках и ни разу не употребляет ни одной кириллической буквы. Особый интерес представляют молитвы Дмитрия Олтарника его собственного сочинения, включающие, однако, реминисценции обычно употребляемых молитв и фразы из Нового Завета. Интерес представляет также запись на первом листе рукописи греческого, латинского и глаголического алфавитов (глаголический алфавит содержит 38 букв). Как полагает автор монографии, запись трех алфавитов, и именно в таком порядке, свидетельствует о том, что славянская письменность не только утверждается автором этой записи в качестве «третьего языка» христианской религии, но и рассматривается как замена еврейского (см. р. 97—98).

Рекомендации по приготовлению лекарств и лечению различных болезней и ран на трех листах, вставленных между 141 и 142 листами рукописи псалтыри, являются совершенно уникальным и, несомненно, древнейшим славянским текстом этого рода. Этот глаголический текст (также как и текст приписок Дмитрия Олтарника) цитируется в монографии полностью в кириллической транслитерации. Следует, однако, отметить, что его необходимо более точно поделить на слова, чем это делает проф. И. Тарнанидис (см. р. 99). В силу своего специфического содержания, этот текст открывает нам целый ряд слов и выражений, не зафиксированных до сих пор в рукописях такой древности. Например, *млѣчьѣ коренне*, *чАбрьно корАнье*, *рѣжана мока*, *тѣмьбнь жльцьѣ*, *извинѣти (извинеть)*, *кашълтѣи (кашълетъ)*, *дАсны* и многие другие. Самый факт наличия текста такого содержания в глаголической рукописи является весьма информативным для историков. Так, И. Тарнанидис полагает, что он может быть свидетельством более или менее постоянного присутствия на Синае славянских монахов, страдавших от непривычного климата и необычных обстоятельств жизни и потому нуждавшихся в подобного рода записях (см. р. 47, 99—100).

Еще одна глаголическая рукопись представляет собой небольшой фрагмент в два листа, содержащий запись службы на Рождество Иоанна Предтечи и одного из древнейших канонов из службы апостолам Петру и Павлу. По наблюдениям И. Тарнанидиса, почерк этого фрагмента сходен с почерком Синайской псалтыри и отличается от последнего несколько большей угловатостью. Орфографические особенности указывают на принадлежность этого фрагмента к южнославянским рукописям. Первый лист с записью службы Иоанну Предтече сильно испорчен, и в настоящее время большую часть текста на лицевой стороне первого листа прочесть невозможно. Второй лист сохранился значительно лучше, текст обрывается на ирмосе VI песни канона. Несмотря на небольшой объем рукописи, открытие ее представляется очень важным событием, так как до сих пор мы не располагали глаголическими рукописями такого содержания.

Возможно, наиболее важные результаты исследования глаголических рукописей нового собрания Синайского монастыря будут связаны с изучением глаголической рукописи Синайского миссала, которую И. Тарнанидис по времени написания считает современной Синайскому евхологию. С сожалением, эта рукопись объемом в 80 листов, хотя и дошедшая до нас полностью, сильно испорчена. Первые 12 и последние 10 листов разрушены совершенно. Однако нельзя не согласиться с автором монографии, что, если в будущем рукопись будет расширена и сохранившиеся ее части дешифрованы с помощью современных технических средств, ее изучение внесет огромный вклад в исследование ранней кирилло-мефодиевской традиции и, особенно, славянской литургической традиции на тех территориях, где было сильно влияние Римской церкви. Рукопись написана круглой глаголицей. И. Тарнанидис смог различить почерк по крайней мере трех писцов: почерк в большей части рукописи сходен с почерком Синайского евхология, почерк второго писца напоминает почерк в Киевских листках, почерк третьего писца более крупный и угловатый. Писцы употребляют «еры» и «юсы». Так как рукопись представляет особую ценность, в монографии воспроизводятся в кириллической трансли-

терации все слова и небольшие отрывки, которые И. Тарнанидису удалось прочесть на данном этапе исследования. Фонетические черты рукописи ясно указывают, что она относится к южнославянским (см. ff. 21r, 48r, 49r, 58r; *мол<итва>*), f. 14v: *помощи, изищѣтъ*, f. 53v: *веч<е>рие рожд[...]*, f. 25r: *пѣть*, f. 14v: *просА[...]* и др.). В то же время даже в тех небольших фрагментах текста, которые можно прочесть при сегодняшнем состоянии рукописи, вполне определенно узнаются части литургии по западному образцу. На латинский оригинал этого литургического текста указывает также терминология: *префациѣ*, *мыша* и др. Это несоответствие языковых черт рукописи и ее содержания кажется загадочным и почти невероятным с точки зрения современных представлений и знаний по истории, литургии, истории языка. Единственной известной до сих пор древней глаголической рукописью, содержащей литургический текст по западному образцу, являются Киевские листки (Киевский миссал). Однако языковые особенности Киевских листков указывают все-таки на их западнославянское происхождение (см. [13]). Несомненно, что изучение Синайского миссала вызовет широкую научную дискуссию. Одна из гипотез (правда, по нашему мнению, маловероятная) уже предложена автором монографии. Согласно этой гипотезе, клир Римской церкви протестовал не столько против использования в богослужении славянского языка и, соответственно, славянской письменности, сколько против византийской литургической традиции. Поэтому св. св. Кирилл и Мефодий, будучи в Моравии, перевели на славянский язык литургию св. Петра, что было своеобразным примиряющим дипломатическим жестом по отношению к Римской церкви. По мнению И. Тарнанидеса, этим объясняется и использование западной терминологии (месса была переведена с латинского оригинала), и то, что месса записана на южнославянском наречии (перевод осуществлялся самими Солунскими братьями или людьми из их ближайшего окружения) (см. р. 108).

Кириллическим рукописям из нового собрания Синайского монастыря уделено в монографии гораздо меньше внимания, чем глаголическим, что, впрочем, вполне оправданно и даже специально оговаривается автором (см. р. 57—58). Кратко упомянем здесь хотя бы об основных рукописях, так как они также представляют значительный интерес для славистов.

Наиболее древними из кириллических рукописей нового собрания являются части русской псалтыри XI/XII в. и Добромирова евангелия XII в. Части русской псалтыри XI/XII в. — 17 листов, заключенных в две отдельные тетради. Это еще одна часть известной рукописи, первые девять листов которой принято называть Псалтырью Бычкова (см. [14]). Первая тетрадь (листы 1—9) непосредственно предшествует Псалтыри Бычкова и содержит тексты псалмов, начиная с 7-го стиха 9-го псалма до 34-го стиха 17-го псалма (Псалтырь Бычкова начинается с 34-го стиха 17-го псалма). Вторая тетрадь (листы 10—17) исполняет пробел между 125 и 126 листами части этой же рукописи, находящейся в «старом» собрании Синайского монастыря, и содержит библейские песни (с 11-го стиха 1-й песни по 5-й стих 5-й песни). Часть Добромирова евангелия представляет собой девять листов и содержит чтения Мф 21, 24 — Мф 24, 3 и Мф 27, 48—62. Как мы уже отмечали, фотографии обеих древнейших кириллических рукописей приводятся в последнем разделе монографии и доступны для изучения.

Исследователей славянского перевода псалтыри заинтересует также открытие нескольких списков псалтыри XIII—XIV вв., хотя все они и представляют собой не очень большие фрагменты. Фотографии сербской псалтыри середины XIII в. (30 листов) приводятся в монографии и доступны для исследования. Эти 30 листов являются частью известной рукописи псалтыри, написанной в районе Рашки и хранящейся в «старом» собрании на Синае (Slav. 8). Таким образом, рукопись восполнилась текстами псалмов с 1-го по 7-й, с 17-го по 20-й и с 24-го по 27-й. Еще один фрагмент объемом в шесть листов псалтыри (?) XIII в., орфография которого также указывает на происхождение из района Рашки, содержит воскресную заутреню и часть 118 псалма. Два небольших фрагмента псалтыри — болгар-

ского происхождения. Фрагмент XIII в. — шесть листов, содержащих псалмы с 24-го по 34-й; фрагмент XIV в. — совсем небольшой, в два листа, содержит отрывки из 24-го и 26-го псалмов. Фрагмент псалтыри второй половины XIV в. с сербскими языковыми чертами представляет собой 15 листов и 15 обрывков. Эта рукопись содержит отрывки из псалмов (№ 80, 81, 85—91, 101, 103, 140) и из первой и второй библейских песен. Размеры листов рукописи и почерк идентичны размерам и почерку рукописи евхология, написанной иеромонахом Иоанном, из «старого» собрания Синайского монастыря, поэтому И. Тарнанидис считает эту рукопись псалтыри принадлежащей перу того же самого писца¹.

Автор монографии утверждает, что этот писец причастен и к созданию ряда рукописей нового собрания гимнографического содержания. Все они, по наблюдению И. Тарнанидиса, имеют сербские языковые черты. Сборник кондаков и канонов объемом в 61 лист составлен из двух отдельных рукописей конца XIII в. Текст XIII в. состоит из акафиста Богородице, чина причащения, кондаков всем святым, покаянного и молебного канонов 6 гласа (последний обрывается на 4-ом тропаре III песни). Соединил обе рукописи в один кодекс, по мнению И. Тарнанидиса, во второй половине XIV в. иеромонах Иоанн (или, возможно, его сподвижник иеромонах Иаков). Соединивший рукописи заполнил также чистые страницы (ff. 53r — 54r кодекса) текстом прокимнов всех гласов и ирмосов канона 8-го гласа. То, что рукопись Службы на перенесение мощей первомученика Стефана также написана иеромонахом Иоанном, явствует, как кажется, из приписки (тем же почерком, что и сама рукопись): *прости б(о)же грѣшнаго, иеромонах(а). иоана аминь. ам(и)нь аминь*. Перу иеромонаха Иоанна или иеромонаха Иакова (или, возможно, какому-либо другому писцу с таким же стилем письма из того же самого скриптория) принадлежит и рукопись канонов, содержащая чин причащения и каноны Богородице, покаянный и молебный 6 гласа. Среди рукописей гимнографического содержания с сербскими языковыми чертами интересны также рукопись канонов XIII/XIV в., октоих начала XIV в. Рукопись октоиха представляет собой часть пергаменного кодекса объемом в 13 листов, находящуюся в очень хорошем состоянии. Орфография рукописи указывает на ее происхождение из района Рашки. Рукопись содержит из 4-го гласа службу заутрени четверга, из 5-го гласа службу вечерни четверга и службу заутрени пятницы, из 6-го гласа службы вечерни пятницы и заутрени субботы. Рукопись канонов объемом в семь листов содержит конец молебного канона и каноны Богородице и Преображению Господню. Как отмечает автор монографии, последний из канонов неизвестен по греческой и славянской минеям, в которых на этом месте стоят каноны Космы и Иоанна Дамаскина (см. р. 141—142).

Ряд небольших по объему рукописей, возможно, даст интересную информацию не только филологам, текстологам, литургистам, лингвистам, но и историкам. Среди них три списка XIV в. литургии Иоанна Златоуста с сербскими языковыми чертами. Рукопись литургии 1342 г. была выполнена по заказу Хрели Охмучевича, две рукописи второй половины XIV в. принадлежат перу иеромонаха Иоанна. Для историков русского языка важна древнерусская рукопись XIII в., содержащая Ответы Варсануфия Великого и небольшой отрывок из Лествицы Иоанна Схоластика.

Едва ли не самой значительной рукописью среди рукописей XIII—XIV вв. нового собрания Синайского монастыря является сборник смешанного содержания первой половины XIII в. Это пергаменный кодекс объемом в 176 листов, составляющих 23 тетради, написан архаичной маюскульной кириллицей (уставом). Орфография рукописи указывает на ее происхождение из района Рашки. Сборник содержит жития (Житие св. Зосимы, Житие преподобного Евфросина), апокрифические сказания (Явление Архангела Михаила Аврааму, Видение Исаии-пророка), службу (вечерню, заутреню и литургию) на Преставление св. апостола Иоанна Богослова, отдельные каноны и молитвы, славянский перевод

¹ Подробно об этом писце см. [15].

ти. Икона Евергетидского монастыря. Огромная ценность рукописи определяется разнообразием содержания при ее несомненной древности, архаичностью форм некоторых составляющих ее текстов, которые, возможно, даже представляют собой непосредственные переводы. Так, апокриф Явление Архангела Михаила Аврааму до сих пор был известен лишь в списках XVI в. (в двух вариантах — более просторном и кратком). Таким образом, найденная сейчас на Синае рукопись является древнейшей рукописью, сохранившей этот апокриф, причем в его просторном варианте. Важно также и то, что здесь представлена сербская редакция, которая, видимо, является древнейшей. Видение Исаии-пророка, известное во многих версиях, в данной рукописи также представлено в сербской редакции. Огромный интерес представляет и текст типикона Евергетидского монастыря, который, как предполагает И. Тарнанидис, является первым сербским переводом типикона, сделанным самим св. Саввой и людьми из его ближайшего окружения. В намерения автора монографии входит издание этого текста, что позволит провести тщательное его сравнение с другими сербскими аналогами и явится важным вкладом в изучение литературной деятельности сербов во времена св. Саввы.

Таков предельно краткий обзор фундаментального труда проф. И. Тарнанидиса, труда, который, несомненно, будет встречен с благодарностью учеными и всеми, кто интересуется славянской древностью. Уверены, что материалы рукописей нового собрания Синайского монастыря, довольно значительная часть которых уже стала доступной благодаря данной монографии, привлекут к себе внимание славистов различных специальностей. Хочется также надеяться на возможно скорое и квалифицированное издание всех манускриптов этого уникального собрания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Мирчев К.*, *Кодов Хр.* Енишки апостол. София, 1965.
2. *Гошев И.* Старобългарски глаголически и кирилски надписи IX—XI вв. София, 1961.
3. *Медынцева А.*, *Попконстантинов К.* Надписи из Круглой церкви в Преславе. София, 1984.
4. *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1977—1983 гг. М., 1986.
5. *Попконстантинов К.* Доклад на Втором международном конгрессе болгаристов. София, 1986.
6. *Добрев И.* Глаголическият текст на Боянски палимпсест. Старобългарски паметник от края на XI век. София, 1972.
7. *Altbauer M.*, *Mareš F.* Fragmentum glagoliticum evangelii palaeoslovenici in codice Sinaitico 39 (palimpsestum).— In: *Anzeiger der phil.— hist. Klasse der Oesterreich. Akad. der Wissensch.*, 117. Jahrgang, 1980, So. 11.
8. *Кръстанов Т.* Български ватикански палимпсест (Кирилско кратко изборно евангелие от X век в Cod. Vat. gr. 2502).— *Старобългаристика*, т. XII. 1988, № 1.
9. *Алтбауер М.* Глаголица в Синай. Новооткрити ръкописи в манастира «св. Екатерина».— *За буквите*, 1981, 24 V, бр. 4, с. 5.
10. *Frček J.* Euchologium Sinaiticum.— *Patrologia orientalis*, T. 24. 1933, fasc. 5, p. 625—626.
11. *Arranz M.* Les Sacrements de l'ancien Euloge constantinopolitain.— *Orientalia Christiana Periodica*, T. 48, 1982, № 2.
12. *Дмитриевский А. А.* Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках православного Востока. Т. 2. *Еυχολѳіа*. Киев, 1901.
13. *Німчук В. В.* Київські глаголичні листки. Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.
14. *Altbauer M.*, *Lunt H. G.* An Early Slavonic Psalter from Rus'. V. 1. Harvard, 1978.
15. *Церний Л.* Белешке о писарима неких српских рукописа, манастиру свете Катарине на Синају.— *Археографски Прилози*. Т. 4. Београд, 1982, с. 19—26.



РУССКИЙ СЛАВИСТ XIX в. П. П. ДУБРОВСКИЙ (1812—1882)

В работах по истории русского славяноведения, как правило, главное внимание уделяется крупным ученым, прежде всего университетским профессорам. Однако определенную роль играли и слависты, не относящиеся к числу выдающихся, но своим самоотверженным трудом создававшие и условия для развития в русском обществе интереса к славянам, и материальную базу для их изучения.

К этой категории пока еще мало изученных славистов относится и П. П. Дубровский, при жизни хорошо известный в славистических кругах, публиковавший свои работы во многих русских и зарубежных славянских изданиях, ведший обширную переписку с крупнейшими славянскими учеными, издававший «общеславянский» журнал, автор учебников и составитель словарей, переводчик научных статей.

Работы о Дубровском есть в русской дореволюционной, польской и чешской литературе, в СССР же первая статья о нем опубликована в 1979 г. в справочном издании [1]. К сожалению, в ней множество ошибок. Неверно, что Дубровский учился в Нежинском лицее, что он окончил Московский университет, что его «Обзор русской литературы» вышел отдельной книгой, что его издание «Денница» было «альманахом» и выходило под заголовком «Славянское обозрение»¹, что Дубровский с 1853 г. был чл.-корр. Российской Академии наук; не указаны главные работы Дубровского, совсем не освещены последние 24 года его жизни, когда были созданы крупнейшие труды слависта, приведены всего две работы о нем, причем польский филолог Б. Муха, автор одной из них, обозначен как «Маха».

Настоящая статья основана главным образом на неопубликованных архивных документах, но и с учетом опубликованных материалов, в первую очередь комплекта «Денницы», сочинений Дубровского, его переписки. Основным предметом статьи является жизненный путь Дубровского и издание им «Денницы».

Петр Павлович Дубровский родился в Чернигове, но как он сообщает в письме к С. П. Шевыреву от 1/13 V 1847 г., «еще в детстве завезен был в Москву, где первоначально и воспитывался» [2, ф. 850, д. 237], затем проходил курс гимназии в Киеве и вновь жил в Москве, с 1832 по 1834 гг. слушал лекции в Московском университете, а в 1835 г. получил свидетельство о звании домашнего учителя, в качестве такового и стал работать в частном доме [3, ф. 733, оп. 77, д. 188, л. 197—200]. В Москве Дубровский занимался зарубежной, в том числе и польской литературой, в 1835 г. опубликовал в «Московском наблюдателе» небольшую статью «Новейшая польская поэзия», писал и для журнала «Телескоп», был избран в содру-

Лаптева Людмила Павловна — д-р ист. наук, профессор МГУ.

¹ «Денница» была в 1842 г. литературной газетой малого формата, выходившей два раза в месяц, а в 1843 г. — журналом-ежемесячником. «Славянское обозрение» было лишь подзаголовком ежемесячной серии.

ники Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете, но университетский курс так и не завершил.

В 1837 г. Дубровский определен учителем русского языка в Царстве Польском [3, ф. 733, оп. 77, д. 188, л. 197—200]. Польский ученый Б. Муха обращает на это особое внимание, полагая, что Дубровский поставил перед собой цель читать в подлиннике Адама Мицкевича, а поскольку в России с 1835 г. нельзя было ни печатать его произведения, ни ввозить их из-за границы, то Дубровскому и не оставалось иного выхода, кроме как переселиться в Варшаву [4, с. 165—176]². К сожалению, действительность была гораздо прозаичнее. Служба в Царстве Польском оплачивалась значительно выше, чем в центральных губерниях России, а Дубровский едва сводил концы с концами. В 1836 г. Дубровскому посоветовали во избежание материальных затруднений «отправиться в Царство Польское, в которое вызывали тогда учителей русского языка», и он выехал в Варшаву [2, ф. 850, д. 237].

Дубровский преподавал в Варшавской губернской гимназии русский язык, а в 1841 г., как писал Шевыреву 23 XI/5 XII того же года, еще церковнославянский [2, ф. 850, д. 237]. В числе его польских друзей и знакомых были известные ученые — правовед В. А. Мацеевский, филологи С. Б. Линде и А. Кухарский. Под руководством последнего Дубровский изучал славянские языки. О сотрудничестве с Линде Дубровский неоднократно упоминал в письмах, в частности С. Уварову от 28 V/9 VI 1841 г. [3, ф. 735, оп. 2, д. 241, л. 1] и Шевыреву от 29 IV/11 V и 23 XI/5 XII 1841 [2, ф. 850, д. 237], сообщая, что помогает польскому ученому в составлении ставшего впоследствии знаменитым сравнительного словаря славянских языков. Есть свидетельства о том, что эта помощь была серьезной. 12/24 V 1841 г. Линде писал министру народного просвещения С. С. Уварову: «Здесь есть один очень дельный знаток славянщины, оказавший и оказывающий услуги разными русско-славянскими трудами и одушевляемый похвальным усердием к делу славянства. Это — г. Дубровский, русский учитель при нашей губернской гимназии. Он ревностно желает получить возможность ... предпринять путешествие в славянские земли Австрии, а именно — в неисчерпаемую Прагу. Я со своей стороны также многого ожидаю от этого путешествия, тем более, что и теперь не всегда могу обойтись без содействия г. Дубровского» (цит. по: [5, с. 263]) (курсив мой. — Л. Л.). Тогда же Дубровский послал министру Уварову экземпляр своего «Обозрения русской литературы за 1838, 1839 и 1840 гг.» (на польском языке, оттиск из «Bibliotecz Warszawskiej») и просил денежного пособия для поездки в Прагу [3, ф. 735, оп. 2, д. 241, л. 2—4], которое и было ему предоставлено. Летом 1841 г. Дубровский отправился в свое первое путешествие по славянским землям, подробно описанное им затем в отчете министерству [3, ф. 735, оп. 2, д. 241, л. 6—18]. Славист посетил главный город прусской Силезии Бреслау (Вроцлав), где был радушно принят профессором физиологии местного университета, известным чешским ученым и патриотом Я. Е. Пуркине, а затем направился в Чехию. В Прагу он прибыл 29 июня. «Самое замечательное в Праге, — отмечал он в отчете, — это не столько ее библиотеки и музеи, сколько ее ученые и литераторы: Шафарик, Юнгманн, Палацкий, Ганка, Челаковский, Тыл, Винаржицкий, Пресль, Амерлинг, Станек, Коубек...». Дубровский описывает «необыкновенную деятельность чешских ученых», указывая на «привязанность их к славянскому миру», подчеркивая, что их труды были ему «руководством в занятиях славянством и раньше», и что теперь названные ученые его «радушно приняли» и «с готовностью» открыли ему свои портфели. Дубровский перечисляет новейшие работы чешских ученых, вышедшие в Праге чешские и серболужицкие книги, останавливается на содержании 2-й книжки «Casopisa Ceského Muzea», где было в частности напечатано письмо И. Срезневского В. Ганке из Любляны (5 IV 1841), на новостях «иллирийской литературы». Дубровский осмотрел рукописи,

² Автор повторяет не только ошибочное утверждение о пребывании Дубровского в Московском университете в 1833—1837 гг. (верно — 1832—1834), но и об окончании им этого университета.

книги и монеты в коллекции Чешского Музея, познакомился также с народным бытом чехов, совершив вместе с Винаржицким и Челаковским экскурсию в Болеславский округ. Возвращаясь в Варшаву, Дубровский проехал через Лужицы и дал в отчете описание района расселения лужицких сербов, упомянув об их пробуждающейся литературной жизни. Свою поездку Дубровский оценивал как весьма полезную, доставившую ему много материалов для занятий новейшей славянской литературой [3, ф. 735, оп. 2, д. 241, л. 9, 10, 12—18].

Важнейшим результатом путешествия Дубровского явилась подготовка к изданию общеславянского журнала. В конце 1841 г. он подал ходатайство о разрешении издавать «литературную газету», а в декабре 1841 г. писал Шевыреву: «Теперь приступая к изданию газеты на польском и русском языках... Я собрал несколько молодых людей — русских и поляков, прихотил их заняться чешским языком и дал им теперь разные работы для моей будущей газеты. Сам также не остаюсь праздным. ... Цель моя будет достигнута, если я успею сосредоточить внимание русских читателей на западном славянстве и ознакомить поляков с русским миром». Очень рассчитывал будущий издатель на участие в газете С. П. Шевырева и М. П. Погодина [2, ф. 850, д. 237].

Первый номер литературной газеты «Денница» вышел в январе 1842 г., далее она выходила два раза в месяц. В издании были заинтересованы не только ученые, но и некоторые политические круги России, считавшие целесообразным проводить гибкую политику в Царстве Польском. Эти силы группировались вокруг министра С. С. Уварова, к ним принадлежали Шевырев и Погодин. Последний еще в 1840 г. рекомендовал министру издавать в Варшаве «всеславянский журнал» [3, ф. 1108, оп. 2, д. 1, л. 49]. Согласившись с этой идеей, Уваров поддержал «Денницу». В январе 1842 г. Дубровский получил пособие в 500 руб. [3, д. 733, оп. 77, д. 107, л. 1]. Министр распорядился, чтобы на «Денницу» подписывались 6 университетов, 3 лицея и 74 гимназии, после чего Дубровский получил еще 405 руб., а уже в феврале 1843 г. экземпляры были вторично разосланы по учебным округам [3, д. 733, оп. 77, д. 107, л. 3, 14, 22, 33]. Таким образом, финансовая сторона издания в первое время обеспечивалась министерством просвещения.

В 1-м номере «Денницы» было опубликовано «Путешествие в Лужицы весной 1839 г.» Л. Штура, ранее напечатанное в журнале «Casopis Českého Muzea», а теперь переведенное с чешского на русский и польский. Сам Дубровский в этой книжке информировал читателей о литературном движении у лужицких сербов [6, 1842, № 1, с. 3—9]. Были в номере и другие заметки, а также извлечение из письма В. Ганки к издателю — о новостях чешской литературы. В следующих номерах помещен этнографический материал, обзоры славянских литератур, образцы славянской поэзии. Газета выходила на польском и русском языках параллельными столбцами.

Славянская патриотическая интеллигенция отнеслась к изданию с сочувствием. Шафарик писал Дубровскому: «Известие о выпуске периодического издания „Денница“ принесло нам немало радости, и мы ожидаем от него пользу для литературы. Я не замедлил написать для Вашего издания небольшую заметку о славянах в Италии» [7, с. 234]. Сам же Дубровский в 1842 г. писал Шевыреву: «Теперь вышло уже 9 номеров „Денницы“, она еще ни разу не опоздала. Ее приветствовали чешские журналы и благословили с славянским радушием. Отовсюду получаю письма от заграничных славянских ученых, которые сообщают мне любопытные известия» [2, ф. 850, д. 237]. Издатель в этот момент полон оптимизма в отношении будущего «Денницы». «Славянщина — пишет он, — завела меня в густую чащу; желание трудиться неодолимо; воля сильна; предмет изысканий завлекателен; все это ведет к тому, что объем „Денницы“ надо будет увеличивать; но это зависит от публики: как она примет мое издание?» [2, ф. 850, д. 237]. Однако «публика» не разделяла энтузиазма издателя и не торопилась подписываться на его газету. Уже в июле 1842 г. у Дубровского начались финансовые затруднения. Хотя министр и заявил о своем

решении «взять по одному экземпляру „Денницы“ для учебных заведений», но вплоть до июля 1842 г. это решение реализовано не было [2, ф. 850, д. 237]. Русские газеты и журналы — кроме «Москвитянина» — не спешили рекламировать «Денницу», даже не печатали объявлений о ее программе и начале издания. В России «Денница» не вызвала никакого интереса; самые лестные отзывы, как отмечал Дубровский, были помещены «почти во всех славянских журналах», как и в некоторых немецких. «Даже поляки, наши и заграничные, — сетовал Дубровский, — сочувствуют мне..., но русские не хотят о ней („Деннице“. — Л. Л.) знать» [2, ф. 850, д. 237]. «Решительно никем не поддерживаемый, остаюсь в самом затруднительном положении, — извещает издатель письмом 26 VII/7 VIII 1842 г. Шевырева. — Номер 14 „Денницы“ едва-едва вышел» [2, ф. 850, д. 237]. В то же время в редакции накапливалось множество материалов, и Дубровский обрабатывал их почти без посторонней помощи. «Исключая Евецкого, моего доброго сотрудника, я не имею никого, — писал издатель. — Сам все перевожу и по-русски и по-польски, да держу только одного поляка для корректуры и поправки моего польского слога» [2, ф. 850, д. 237]. Позднее Дубровский писал, что им выполнены все переводы помещенных в «Деннице» статей с разных славянских «наречий», а также составлена большая часть критических и библиографических статей [2, ф. 124, д. 1578].

К финансовым трудностям «Денницы» прибавились и другие неприятности: Дубровского перевели из гимназии в училище, в чем он усматривал происки не только директора гимназии, но и «польской партии», недовольной изданием «Денницы» на двух языках и, по утверждению Дубровского, боявшейся «славянского духа пуце нечистой силы». Называя себя «мучеником», Дубровский в отчаянии просил Шевырева ходатайствовать перед министром о помощи [2, ф. 850, д. 237].

Этот «крик души» был услышан, и в недатированном письме, написанном в конце августа или начале сентября 1842 г., Дубровский радостно сообщает Шевыреву: «„Денница“ еще жива! Да и будет жить! Министр, добрый министр поддержал ее» [2, ф. 850, д. 237]. На 1843 г. Дубровский даже намечал издание в увеличенном объеме, о чем и писал 29 декабря 1842 г. профессору Я. Е. Пуркине [8]. Министр Уваров письмом от 24 февраля 1843 г. изъявил Дубровскому признательность за успешное издание журнала [3, ф. 733, оп. 77, д. 188].

Однако подписка не превышала прежнего уровня. Русская общественность оставалась к «Деннице» равнодушной [2, ф. 850, д. 237]. Добавились и цензурные препятствия. Дубровский вел настоящую борьбу с варшавской цензурой, «которая запрещает даже книги, напечатанные в России, и не хочет пускать польского перевода русских статей, помещенных в русских же журналах» [2, ф. 850, д. 237]. В частности долго не пропускалась цензурой статья И. Срезневского «Публичные чтения о славянах» [2, ф. 850, д. 237], купюры и изменения были внесены в работу Я. Е. Пуркине о литературном единстве славянских народов [6, 1842, № 10, 11, 12; 5, с. LI—LIII].

Несмотря на все трудности Дубровский в мае 1843 г. писал: «Буду бороться до пролития последней капли чернил» [2, ф. 850, д. 237]. На какое-то время блеснул луч надежды — в мае-июне Дубровский получил деньги от Киевского учебного округа за 42 экземпляра журнала [2, ф. 850, д. 237]. Но уже в августе, когда вышла 6-я книжка, Дубровский был снова в отчаянии [2, ф. 850, д. 237], а 8-я оказалась вообще последней.

Главной причиной прекращения издания было отсутствие средств. Предположение И. Горака, что в редакции не было материалов для публикации [9], не имеет оснований. Напротив, Дубровский постоянно подчеркивал, что ему прислано множество разнообразных статей, образцов славянской прозы и поэзии и т. д. Однако Дубровский и его единомышленники явно переоценили действенность идеи славянской взаимности в 40-е годы XIX в. Судьба «Денницы» показала, что эта идея разделялась лишь небольшой группой ученых и писателей, не проникнув в сколько-нибудь широкие круги славянской интеллигенции ни за пределами России, ни в ее границах. Дубровский писал: «Я сделал все что мог, но совершенное

равнодушие нашей публики убило „Денницу“. Польша подписывалась на 17 экземпляров, а Россия — на 12!! „Денница“ существовала только при покровительстве некоторых лиц, но теперь иссяк и этот источник. Напрасно я выбывался из всех сил ... Ничего нельзя было сделать» [10].

Драматическая история журнала отрезвила и самого Дубровского. В письме к Ст. Вразу от 11 февраля 1844 г. русский ученый заметил: «Идея славянская еще к нам не привилась, да и Бог знает, когда привется. Иногда ... решительно теряешь веру в тот наш славянский мир, который мы теперь создали в области литературной, и думаешь, что все это — мечта, призрак, игрушка, что, наконец, идея о возрождении славянского духа есть только бред нескольких литераторов, одержимых временною горячкою» [5, с. 280].

Короткая жизнь «Денницы» все же оставила след в развитии славяноведения. «Это был первый опыт в своем роде, и по времени принес существенную пользу, — писал И. И. Срезневский. — В составе „Денницы“ приняли участие многие из славянских ученых», она была «полезным органом литературы славянской» [11, ф. 216, оп. 1, д. 918, л. 5—7].

В рамках настоящей статьи есть возможность лишь кратко остановиться на содержании «Денницы». Чешские ее материалы подробно описаны В. А. Францевым в его «Очерках по истории чешского возрождения», так что есть смысл сказать о других.

Весьма любопытен помещенный в «Деннице» трактат Я. Е. Пуркине «О литературном единстве между славянскими племенами» [6, 1842, № 10, 11]. Автор подробно останавливается на истории Чехии и особенностях чешского языка, предрекает светлое будущее литературе южных славян, рекомендует лужицким сербам усваивать славянские языки, а также «переводить славянские творения на немецкий язык и быть, таким образом, посредниками между двумя величайшими народами». У поляков, с точки зрения Пуркине, только начинается «развитие самородного духа». Образованность русских «делается все более способной обратиться на истинный путь литературу западных славян», однако «это не значит, что последние должны влиться в поток русской литературы и потерять ... свой особый характер. Напротив, они не могут от него отказаться, как и от первобытного свойства своих наречий». Одним из средств достижения литературного единства славян Пуркине считал введение латинской азбуки для всех славянских народов. У австрийских славян предполагалось при этом взять за образец иллирийское правописание по системе д-ра Гаяя. Что же касается русского языка, то введение в него латинского алфавита «в известных пределах», а именно — в произведениях общенаучного характера, не представляло, по мнению Пуркине, особых затруднений. Автор подробно говорит о достоинствах и недостатках русской азбуки, о трудностях ее изучения для западных славян, развивает свой проект введения латиницы в русскую письменность [6, 1842, № 10, 11, с. 128, 139].

У русских ученых эти идеи не встретили сочувствия. Не нашел Пуркине поддержки и в чешской среде. Шафарик в письме О. М. Бодянскому 15 февраля 1842 г. выразил сожаление, имея в виду проект Пуркине, что «умные головы сбиваются на столь ложные пути» [7, с. 49]. В целом же сочинение Пуркине представляло собой типичный продукт эпохи, когда многими славянскими деятелями лелеялась мысль, что идеальное будущее всех славян могло бы наступить благодаря их литературному единству.

Весьма насыщена была «Денница» информацией о серболужицкой литературе и духовной жизни. Выше уже упомянуто о публикации статьи Л. Штура «Путешествие по Лужице». Еще более ценным материалом представляются статьи серболужицких авторов. Я. А. Смолер поместил в «Деннице» свое «Краткое обозрение сербской литературы в Верхней Лужице от ее начала до 1767 г.» [6, 1842, № 8, с. 100—105]. В статье подробно перечислены переводы церковной литературы на серболужицкий язык, указаны как печатные, так и рукописные работы. Смолер отмечает, что серболужицкая литература в его время «снова возрождается, когда казалось уже, что она близка к совершенному упадку...».

Современная серболужицкая письменность была характеризована в статье Я. П. Иордана «Новейшее направление сербской литературы в Верхней Лужице» [6, 1842, № 7, с. 90—92, № 8, 97—99]. Автор подчеркнул преимущественно религиозный характер серболужицкой литературы и отметил начало ее возрождения, перечислив в доказательство все, что вышло в 1841 г. Наиболее подробно Иордан остановился на своей грамматике.

Статьи Смолера и Иордана, помещенные в «Деннице», представляют собой первую подробную информацию по этой теме на русском языке. Сведения отличаются высокой точностью, поскольку исходят от творцов серболужицкой литературы своего времени.

Много материала в «Деннице» о русской литературе, прежде всего статьи Погодина и Шевырева специально для «Денницы», а также переводы на польский язык опубликованных ранее на русском работ. Срезневский в «Публичных чтениях о славянах» констатировал быстрый рост европейского и русского славяноведения за истекшие 30 лет, выразившийся в функционировании 9 славистических университетских кафедр (к 1843 г.). Считая, что «своеобразие славянского духа» сохранилось прежде всего в народном творчестве, Срезневский полагал, что изучение его образцов заслуживает особого внимания и должно опираться на философскую, этнографическую и историческую основу. С учетом этого тезиса Срезневский оценивал программы преподавания славистических дисциплин в ряде университетов [6, 1843, № 2, с. 127—141].

Из опубликованных в «Деннице» литературных обзоров заслуживают упоминания работа И. М. Гурбана о народной и литературной жизни словаков и «Обзорение литературы южных славян за 1842 г.» С. Врза [6, 1843, № 7]. Печатались статьи и об отдельных славянских ученых, переводы из произведений М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, В. Ф. Одоевского, а также польских писателей — Паулины Краков, Л. Сименского и др. Таким образом, материалы «Денницы» отражают определенный уровень развития славянских литератур и славяноведения и являются ценным источником для изучения этого процесса и для уяснения взглядов ряда авторов на судьбы славянства.

После закрытия «Денницы» Дубровский продолжал заниматься славянскими литературами, писал обзоры и рецензии в русские журналы, особенно в «Москвитянин». В 1844 г. он совершил свою вторую поездку в славянские страны, посетил Силезию и Моравию, побывал в Вене, встречался с Челаковским, Пуркине и Смолером [12, 1845, № 9, с. 61]. К этому времени относятся изменения в служебном положении Дубровского, он получает должность помощника начальника канцелярии Варшавского цензурного комитета [3, ф. 733, оп. 77, д. 188].

Политические взгляды Дубровского совпадали с установками Погодина, Шевырева и других деятелей их направления. Что же касается отношений со славянами, то Дубровский, находясь в более тесном контакте с ними, был более терпимым и гибким, чем его московские единомышленники, что относится прежде всего к полякам. Б. Муха именует Дубровского даже «полонофилом», что не вполне точно, а для последних двух десятилетий жизни Дубровского вообще неприемлемо. Правда, ни в письмах, ни в трудах Дубровского вплоть до 60-х годов нет особенно враждебных высказываний в отношении поляков, но все же Дубровский был проводником политики царского правительства, направленной на полное слияние Царства Польского с Российской империей. Возможность успеха такой политики он видел в литературном сближении и установлении лучшего понимания между русскими и поляками в области культуры. А уже во второй половине 40-х годов Дубровский все чаще подумывает об оставлении Варшавы [2, ф. 850, д. 237]. Такая возможность представилась ему лишь в 1851 г. «Срезневский, — писал он, — кажется, перетащит меня в Петербург. Открывается место профессора польского языка в Педагогическом институте» [2, ф. 440, оп. 1, д. 5]. Действительно, приказом министра народного просвещения от 21 июня 1851 г. Дубровский был назначен «особым эстраординарным профессором Главного Педагогиче-

ского института» [3, ф. 733, оп. 77, д. 341, л. 6] и в августе прибыл на новое место службы [3, ф. 733, оп. 77, д. 341, л. 22]. Срезневский рекомендовал Дубровского и в Академию наук, куда тот и был избран в июне 1855 г. на должность «адъюнкта» по Отделению русского языка и словесности и с сохранением должности в Институте [11, ф. 216, оп. 1, д. 918, л. 5—7; 11, ф. 9, оп. 1, д. 180, л. 3, 6, 7, 9]. В Академии Дубровский вскоре получил повышение — место экстраординарного академика [11, ф. 9, оп. 1, д. 241, л. 3] (утвержден с 26 февраля 1858 г. [11, ф. 9, оп. 1, д. 241, л. 4]), ранее занимавшееся Я. К. Гротом, избранным теперь на освободившееся место ординарного академика. Таким образом, учитель гимназии и цензор, не окончивший университета, не только работал профессором, но и стал академиком, что давалось далеко не каждому. Так, крупнейший славист А. Ф. Гильфердинг был на выборах в Академию забаллотирован, а знаменитый А. Н. Пыпин избран лишь на склоне лет.

Многочисленные труды Дубровского этих лет разнообразны по тематике. На первое место следует поставить монографию «Адам Мицкевич» (СПб., 1858). Статьи и обзоры по новейшей польской литературе он помещал в различных русских и зарубежных журналах и газетах. Значительное число статей Дубровского посвящено грамматическим формам польского языка, сравнению польских и русских частей речи.

Другую группу составляют труды Дубровского по русской литературе прошлого и настоящего. Они подробно рассмотрены в статье Б. Мухи. Множество библиографических обзоров по литературам славянских народов Дубровский поместил в журналах «Biblioteka Warszawska», «Dzwoń Literacki», «Album Literacki», «Москвитянин», «Отечественные Записки», Журнал Министерства Народного Просвещения, «Casopis Českého Muzea», «Kolo», «Podunavka» и др.

В 1846 г. Дубровский издал перевод польского сочинения В. А. Мадеевского «Очерк истории письменности и просвещения славянских народов до XIV в.», а в 1847 г. — перевод на польский язык труда Н. Г. Устрялова «Историческое обозрение царствования государя императора Николая I». Он переводил также официальные документы ведомства просвещения, в 1848 г. издал «Практический курс русского языка для преподавания в низших и средних учебных заведениях». В 1847 г. в Варшаве вышел составленный Дубровским «Словарь польско-русский, административный и судебный» для чиновников.

Как экстраординарный академик, Дубровский принимал участие в работе Второго отделения Академии и готовил «Теоретическую грамматику польскую сравнительно с русской», публикуя части из нее в «Известиях Академии». Он также готовил общий очерк истории польской литературы с отрывками произведений польских писателей в оригинале и в русском переводе, но эта работа так и не была завершена.

Приказом министра народного просвещения от 5 марта 1859 г. Дубровский назначается цензором в Петербургский цензурный комитет [11, ф. 9, оп. 1, д. 268, л. 3], а в 1862 г. увольняется со службы «согласно прошению по расстроенному здоровью» [11, ф. 9, оп. 1, д. 241, л. 5]. В сохранении звания экстраординарного академика Дубровскому было отказано, но было предоставлено звание члена-корреспондента [11, ф. 9, оп. 1, д. 241, л. 6]. Дубровский отправился в путешествие по славянским странам на 5 лет [13, ф. 234, оп. 3, д. 234], предполагая возвратиться затем в Петербург и «с новым ученым запасом служить Академии» [13, ф. 234, оп. 3, д. 234]. Некоторое время Дубровский жил в Дрездене [8; 2, ф. 931, д. 348], в 1863—1865 гг. — в Праге [2, ф. 931, д. 348], в 1866 г. вернулся в Варшаву [14, с. 97]. Утверждение Б. Мухи, что из Петербурга Дубровский переехал прямо в Варшаву [4, с. 176], не вполне точно.

В Праге, судя по его письму к В. И. Ламанскому и письму к А. Патере [11, ф. 35, д. 562; 15], Дубровский написал, в частности, статью о Ф. Л. Ригере, оставшуюся, однако, неопубликованной.

В Варшаве Дубровский начал работу над большим польско-русским и русско-польским словарем, о чем подробно писал Эрбену 23 февраля 1867 г. [14, с. 93]. Книга вышла в 1876—1878 гг. и была высоко оценена.

По сведениям Б. Мухи, даже еще в 1960 г. (!) о ней высказывались как о лучшем издании такого рода [4, s. 176].

В 70-е годы Дубровский издал «Учебник для упражнений в переводах с польского языка на русский»; в 1872/73 учебном году это пособие было введено в употребление гимназий Царства Польского [11, ф. 35, оп. 2, д. 562].

Это были последние труды Дубровского. Он умер в ноябре 1882 г. в Скерневицах (Царство Польское).

И во время своего пребывания за границей, и в период второго проживания в Польше Дубровский оставался верен принципам русской политики, как и убеждениям, которые у него сложились в 30—40-е годы, хотя им и был нанесен чувствительный удар. С течением времени его высказывания против поляков стали резкими. Он осудил не только польское восстание 1863 г., но и сочувствовавшую полякам чешскую прессу. В одном из писем Дубровского 1865 г. читаем: «Странно, что чешская журналистика никак не может ... понять польского вопроса! Даже „Národ“ и тот высказал недавно свой пошлый и глупый взгляд на этот вопрос...». Статье, помещенной в „Народних листах“ я не удивляюсь... Как видно, полякомания далеко захела в Чехию» [14, s. 90]³. А в 1867 г. Дубровский делится с тем же корреспондентом такими мыслями: «Слитие Царства Польского с Русской империей уже начинается успешно. Не много пройдет времени, и имя Польского королевства исчезнет. Я уверен, что это будет лучше для поляков, да и для нас тоже» [14, s. 99].

Завершая освещение жизненного пути и творчества П. П. Дубровского на поприще славяноведения, даже не разбирая его филологических трудов, можно констатировать, что этот славист — при всех его недостатках — незаслуженно забыт советской историографией. Его деятельность является в известном смысле примером той преданности изучению славянства, идее славянской взаимности, которая особенно типична для деятелей первой половины XIX в. Именно воодушевление и самоотверженность, проявившиеся русскими учеными на заре становления русского славяноведения, помогли создать базу для расцвета в России науки о славянах, который наступил несколько десятилетий спустя. В то же время крах «Денницы» свидетельствует о том, что в России начала 40-х годов XIX в. зарубежными славянами интересовались — даже в образованных кругах — лишь единицы. Славян практически не знали, на очереди стояла задача распространять сведения о них, а главное — развивать научные исследования о славянских народах. Эту задачу и начали решать первые профессиональные слависты — профессора университетов. А такие деятели, как П. П. Дубровский, способствовали процессу познания славянства и собственными научными исследованиями, и пропагандой знаний о славянах. Таким образом, Дубровский внес в русское славяноведение вклад, неотделимый от процесса общего развития этой дисциплины в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славянское ведение в дореволюционной России. Библиографический словарь. М., 1979.
2. ОР ГПБ.
3. ЦГИАЛ.
4. *Mucha B.* Piotr Dubrowski — zapomniany polonofil i propagator literatury rosyjskiej wśród polaków. — *Slavia Orientalis*. R. XXII, 1973, № 2.
5. *Францев В. А.* Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902.
6. Денница.
7. *Korespondence P. J. Safaříka*. Vyd V. Francev, d. I, č. 1. Praha, 1927.
8. *Literární archiv Památníku národního písemnictví* (Praha), pozůstalost J. E. Purkyně.
9. *Horák J.* P. P. Dubrovského Dennica — Jutrzenka. — *Slovanský Přehled*. 1914—1924. Praha, 1925, s. 79.

³ Газета «Národ» была, как известно, органом партии старочехов и стояла в принципе в польском вопросе на стороне России, но и ее позиция Дубровского не удовлетворяла. «Národní listy» — орган партии младочехов, последовательно защищала польских повстанцев.

10. Письма к Вяч. Ганке из славянских земель. Изд. В. Францев. Варшава, 1905, с. 314.
11. ААНЛ.
12. Москвитянин.
13. ИРЛИ.
14. Slovanská korespondence K. J. Erbena. Praha, 1971.
15. Literární archiv Památníku národního písemnictví (Praha), pozůstalost A. Patery.

СОКРАЩЕНИЯ

ААНЛ — Архив Академии наук СССР, Ленинградское отделение.

ИРЛИ — Институт Русской Литературы, Ленинград.

ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

ЦГИАЛ — Центральный Государственный Исторический Архив в Ленинграде.



О ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СВ. ГУРБАНА-ВАЯНСКОГО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

(к 75-летию со дня смерти)

Изучение межславянских литературных переводов представляет интерес в разных аспектах, в том числе и в плане истории контактов и взаимодействия славянских литератур и языков. Известно, что в развитии межлитературной коммуникации важную роль играют взаимные художественные переводы, возникая и действуя как ее конкретное проявление [1]. Художественные переводы не только способствуют ознакомлению принимающего культурного социума с идейно-эстетическими ценностями инонациональной литературы, но в определенных условиях могут явиться существенным фактором развития и обогащения родной национальной литературы и самого литературного языка-рецептора. Можно согласиться с утверждением, что «художественный перевод должен рассматриваться как одна из основных форм литературных взаимосвязей народов» [2].

В плане истории русско-словацких литературных и культурных связей заслуживает самого внимательного рассмотрения вопрос о переводах на русский язык произведений Светозара Гурбана-Ваянского (1847—1916). Это был видный словацкий общественный и культурный деятель, признанный классик словацкой литературы, поэт, прозаик, литературный критик, публицист и журналист. Ваянский проявлял глубокий интерес к России, к русской культуре и литературе, поддерживал деловые и дружеские контакты со многими русскими писателями и учеными-славистами (В. И. Ламанский, И. С. Аксаков, Т. Д. Флоринский и др.). Он неоднократно приезжал в Россию и свои впечатления об этих поездках публиковал в газете «*Národné noviny*». В письме В. Кривошу он отмечает: «Мои путевые заметки о России вызвали большую сенсацию» [3, с. 78]. Творчеству русских писателей (Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, А. К. Толстого, Некрасова и др.) Ваянский посвятил целый ряд литературно-критических статей, рецензий и заметок. Он переводил на словацкий язык сочинения Пушкина, Тургенева, Толстого, Некрасова и др. В свою очередь литературное творчество Ваянского, его национально-патриотическая деятельность вызывали живую заинтересованность русской общественности. В русских периодических изданиях конца XIX — начала XX в. было напечатано немало статей Ваянского [4]. В тот период охотно публиковались и его художественно-литературные произведения в переводе на русский язык¹.

Смирнов Лев Никандрович — д-р филол. наук, заведующий сектором Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Некоторые сведения об этом содержатся в [5]. Наиболее полная информация о разнообразной публицистической, редакторской, литературно-критической и литературно-художественной деятельности Ваянского, о переводах его произведений на русский язык дается в [6].

Первые анонимные переводы художественных сочинений Ваянского на русский язык были опубликованы в 1885 г.: рассказы «Черный идеалист» («Čierny idealista») — в газете «Санкт-петербургские ведомости» (2, 3 VIII)² и «Ночной сторож» («Nlásnik»), напечатанный в двух газетах: «Санкт-петербургские ведомости», 5 VIII; «Одесские новости», 17 VIII.

С 1885 по 1915 г. было переведено и опубликовано около 40 поэтических (главным образом отдельные стихотворения и поэмы «Ирод» («Herodes») и «Самсон» («Samson»)) и прозаических произведений Ваянского. Общее количество публикаций было намного больше, так как некоторые произведения переводились неоднократно разными авторами, да и переводы одного и того же произведения, сделанные одним автором, печатались в разных изданиях. Например, стихотворение «Pucha Tatier» в переводе Н. Аксакова публиковалось пять раз: «Россия», М., 1890, № 15; «Благовест» СПб., 1891, 1 I; сборник «Словацкие поэты», СПб., 1901; «Славянский век», Вена, 1904, № 79; «Славянский путешественник», М., 1908, № 1; поэма «Самсон» в переводе А. Зарина была опубликована четыре раза (в 1890, 1897, 1901 и 1904 гг.) и кроме того в переводах Н. Н. Филиппова (1898) и В. Смирнова (1906); поэма «Ирод» в переводе В. И. Кривоша была впервые напечатана в «Славянском обозрении» (СПб., 1892, т. 2, кн. 7—8), дважды выходила отдельным изданием (Петербург, 1892, 1909) и затем в «Славянском обозрении» (М., 1915, № 5—6).

В данной статье мы несколько подробнее остановимся на переводах прозаических произведений Ваянского.

После упомянутых выше рассказов в 1887 г. были опубликованы переводы новеллы «Жена дровосека» («Rubačova žienka») — «Звезда», СПб., № 16 и романа «Летающие тени» («Letiace tiene») — «Звезда», СПб., № 44—52. В обоих случаях переводчиком выступал малоизвестный литератор Ф. Ф. Тютчев (1860—1916), внебрачный сын знаменитого русского поэта Ф. И. Тютчева (1803—1873) и Е. А. Денисьевой (1826—1864), оставившей неизгладимый след в жизни и творчестве поэта [8].

Из корреспонденции Ваянского видно, что он знал о готовящемся переводе новеллы. В. И. Кривош в письме Ваянскому от 19 марта 1887 г. замечает: «Примерно две недели назад я написал Вам письмо, в котором сообщил, что перевод Ваших сочинений как в прозе, так и в стихах продвигается быстро и успешно, что уже приготовлена к печати „Жена дровосека“» [9, с. 343]. В другом письме Кривош уведомляет Ваянского о том, что через 2—3 дня пришлет ему номера газеты, где была опубликована первая половина этой новеллы [9, с. 347]. Кривош не сообщает, однако, кто является переводчиком новеллы. Остается неясным, знал ли Ваянский о том, что этот перевод был выполнен Ф. Ф. Тютчевым. Между тем некоторые косвенные данные позволяют предположить, что последний не случайно занялся переводом произведений Ваянского на русский язык, и что, возможно, об этом было известно Ваянскому. Дело в том, что Ваянский был лично знаком с И. С. Аксаковым, известным славянофилом, публицистом, поэтом, редактором газеты «Русь», который был женат на дочери Ф. И. Тютчева. Во время одной из своих поездок в Россию Ваянский посетил в Москве И. С. Аксакова. В письме своей жене И. Гурбановой от 28 октября 1881 г. он отмечает: «...Аксаков был очень мил, три часа я провел у него в редакции „Руси“» [9, с. 347]. Аксаков умер 27 января 1886 г. В связи с этим Ваянский опубликовал некролог (см. [10]). А через год Ваянский снова в России. В письме жене из Петербурга от 27 января он сообщал: «... сегодня я был в Казанском соборе на панихиде в день смерти Аксакова» [9, с. 347]. Можно предположить, что при таких контактах Ваянского с родственниками Ф. И. Тютчева в их окружении могла зародиться идея перевода его произведений на русский язык. Отметим попутно, что кроме названных новеллы и романа Ф. Ф. Тютчев перевел и опубликовал как отдельное стихотворение «Словацкая дума» романс из «Летающих теней» («Звезда», 1887, № 14).

² Через пять лет под названием «Угольщик-идеалист» этот рассказ в переводе А. Сахаровой был напечатан в иллюстрированном журнале для дам [7].

К сожалению, мы располагаем очень скухими сведениями о жизни Ф. Ф. Тютчева, одного из первых переводчиков Вааянского. Его детство и юность были нелегкими; мать умерла, когда ему было четыре года. Мальчик остался на руках дочери Ф. И. Тютчева — А. Ф. Аксаковой. С 1870 г. он учился в Москве в Катковском лицее и только на каникулы приезжал в Петербург. В письме к дочери от 14 января 1871 г. Ф. И. Тютчев пишет: «Благодарю, моя милая Анна, за твою искреннюю заботу о ребенке. Я не мог сказать, как я тронут... Я храню также отложенные для тебя триста рублей за пансион Феда и жду лишь твоего известия, чтобы тебе их переслать. Но думаю, что раньше надо решить, вернется ли он в Катковский лицей или будет помещен в какое-нибудь другое учреждение...» [11]. В 1873 г. Ф. И. Тютчев умирает, и тринадцатилетний мальчик полностью переходит на попечение родственников. Нам удалось найти интересные свидетельства о его дальнейшей судьбе, в частности, о его пребывании в Праге, где он мог ознакомиться с чешским языком. В 70-х годах в Праге по инициативе Славянского благотворительного общества была открыта православная церковь. В доме ее протоиерея А. А. Лебедева нередко бывали приезжие русские слависты (А. С. Будилович, А. А. Кочубинский, П. А. Кулаковский и др.). В воспоминаниях его дочери — Е. А. Лебедевой имеются малоизвестные сведения о Ф. Ф. Тютчеве. Она пишет, что питомцем отца был восемнадцатилетний юноша — Ф. Ф. Тютчев, побочный сын поэта. Его «...затертого и засованного по углам в доме родных, отправили в педагогических целях в Лейпциг; там, почти произвольно, был он зятанут в русский революционный кружок, и отец мой по письму или даже по телеграмме от И. С. Аксакова, приходившегося молодому человеку дядей по жене, ездил выручать последнего и привез его к себе. Молодой человек так и жил у нас и занимался, должно быть около года ...Он потом вполне выровнялся, служил, выступал в печати небольшими повестями и доблестно кончил жизнь свою, кажется, полковником в нынешней войне» [12]. Действительно, Ф. Ф. Тютчев стал впоследствии плодовитым беллетристом и журналистом, автором не только повестей и рассказов, но и ряда романов («Кто прав». СПб., 1893; «На скалах и долинах Дагестана». СПб., 1903; «Злая сила». СПб., 1907 и др.). Некоторые его рассказы выходили отдельными дешевыми брошюрами, предназначенными для простого народа, и многократно переиздавались. Его перу принадлежит и известная статья «Федор Иванович Тютчев (Материалы к его биографии)», опубликованная в «Историческом вестнике» (СПб., 1903. Т. ХСIII, с. 189—203). Умер Ф. Ф. Тютчев в 1916 г. в один год с Вааянским. В газете «Русский инвалид» (Пг., 25 II 1916, № 58, с. 6) нам удалось разыскать объявление о смерти сотрудника журнала «Военный сборник» полковника Ф. Ф. Тютчева и о заупокойной обедне по нему в церкви на Волковом кладбище.

Другим автором ряда переводов сочинений Вааянского была А. Г. Сахарова (1847—1900) — писательница, переводчица, литературный критик. Она опубликовала повторные переводы названных выше новеллы и романа: «Жена дровосека» (сборник «Рассказы и очерки» — приложение к газете «День». СПб., 1890) и «Мимолетные тени» («Сын Отечества». СПб., 1891, № 7—15. Еженедельное приложение). Еще раньше А. Сахарова сделала перевод в прозе стихотворения Вааянского «Королевская жемчужина. Сказка» («Kráľova perla») — «Детское чтение». М., 1889, июль, с. 99—100. Повторно этот перевод был напечатан в детском журнале «Жаворонок» (Пг., 1913, № 10). Ей же принадлежит перевод очерка Вааянского «Из писем разочарованного» («Z listov rozčúleného»), помещенный в сборнике «Рассказы и очерки». СПб., 1891. До сих пор А. Г. Сахарова была хорошо известна как переводчица польской литературы (Э. Ожешко, М. Конопницкая, Б. Прус, Г. Сенкевич и др.) (см. [13]). Она внесла заметный вклад в ознакомление русской общественности и с литературным творчеством видного словацкого писателя. Сахарова — автор краткого критико-биографического очерка «Светозар Гурбан-Вааянский» («Благовест». СПб., 1890, 15 IX, вып. 3, с. 94—96).

Помимо указанных переводов Ф. Ф. Тютчева и А. Г. Сахаровой в га-

зете «Екатеринбургская неделя» (1888, № 39—42) публикуется новелла «Свадебные одежды» («Svadobné šaty») в переводе А. Н. Дубровиной, а в приложении к историко-литературному и политическому журналу «Славянское обозрение» (СПб., 1892, кн. I, т. 1) печатается новелла «Весенний мороз» («Jarný mraz») в переводе В. Францева.

Таким образом, в течение восьми лет с 1885 г. по 1892 г. фактически каждый год (за исключением 1886 г.) в различных русских изданиях публиковались переводы прозы Ваянского. За этот же период было напечатано в переводе около пятнадцати его поэтических сочинений. Такие интенсивные межлитературные контакты, связанные с творчеством одного писателя, были, конечно, не случайны. Они объяснялись не только вниманием и интересом к личности Ваянского, к его литературно-художественному творчеству, но и тем, что культурной русской общественности (особенно славянофильской ориентации) были близки и в значительной мере импонировали общественно-политические взгляды и национально-патриотические устремления писателя. Немалую роль в этом играл и общий рост интереса русской культурной общественности к словацкой литературе в последние десятилетия XIX в. [14].

В начале XX в. выходит из печати новая серия прозаических переводов произведений Ваянского на русский язык: «Акелдама» («Akeldama») — «Север». СПб., 1904, № 13, перевод Д. П. Н.; «В туннеле» («V jasku») — «Варшавский дневник», 1907, № 257, 258, перевод А. Сиротина, этот перевод публикуется также в газете «Волынская жизнь». Житомир, 1907, № 324; «Три сигары» («Tri kabanosky») — «Варшавский дневник», 1907, № 321 и «Волынская жизнь», 1907, № 349, перевод А. Сиротина (позже этот перевод был напечатан повторно в книге А. Сиротина «Россия и славяне». СПб., 1913); «Душевное спокойствие» («Mier duše») — «Мирный труд». Харьков, 1910, № 1—3, перевод А. М. Максимова; в том же году этот перевод был опубликован в Харькове отдельной книжкой.

Были и другие проекты и попытки переводов сочинений Ваянского на русский язык, в частности, намечался перевод его наиболее значительно по содержанию и художественному воплощению романа «Сухая ветвь» («Suchá ratolest'»). В письме Я. Влечку от 7 XI 1889 г. Ваянский признается, что испытал большую радость от высокой оценки этого романа Петуховым³. Последний обещал ему постараться, чтобы роман вышел на русском языке [3, с. 85]. Естественно, данный вопрос очень интересовал Ваянского. Он затронут в письме Н. Н. Бахтину (21 V 1910 г.): «Что с моим переводом? ... Кажется, что переводят „Сухую ветвь“ [3, с. 136]. Однако на русском языке этот роман так и не был опубликован.

В «Славянских известиях» (СПб., 1915, № 8) в разделе хроники находим любопытную информацию о том, что по сообщению «Русских ведомостей» (№ 78, 7 апреля) было проведено совещание учредителей московского словацко-русского общества имени Л. Штура, на котором помимо прочего обсуждалось предложение об издании на русском языке библиотеки словацких писателей. При этом предполагалось, что в первую очередь будет напечатано полное собрание сочинений Св. Гурбана-Ваянского как одного из корифеев словацкой литературы. Автор хроники замечает: «Конечно, вообще это лучший способ заинтересовать интеллигенцию одного народа жизнью другого, но в данном случае является некоторое опасение за судьбу подобного предприятия. Дело в том, что новеллы „отца словацкого народа“ при всей высоте проводимых в них идей облечены в такую форму, которая избалованному русскому читателю покажется слишком наивной и устаревшей. Поэтому лучше было бы вместо полного собрания ограничиться избранными произведениями великого словацкого деятеля. Во всяком случае „в первую очередь“ из романов Гурбана-Ваянского должен быть переведен озаглавленный словами „Сухая ветвь“ («Suchá ratolest'»), как наименее страдающий от запоздалой литературной формы и дающий яркую картину словацкой жизни» [15, 1915, № 8]. Ду-

³ Е. В. Петухов (1863—1948) — русский славист-литературовед — относил «Сухую ветвь» «...к числу лучших беллетристических работ в европейских литературах» [3, с. 85].

мается, что в условиях военного времени маловероятным был и проект издания избранных произведений Ваянского. Несколькими годами раньше более трезвое предложение делал А. Сиротинин. В рецензии на двухтомник сочинений Ваянского («Sobrané diela Svietozára Hurbana Vajanského». Turč. Sv. Martin, 1907) он, сетуя на то, что переводы его произведений на русский язык разбросаны в ежедневных изданиях и потеряны для широкой публики, замечал: «... было бы хорошо, если бы кто-нибудь собрал существующие переводы Ваянского на русский язык и издал их особой книжечкой» [15, 1907, № 8, с. 711]. Но и эту идею не удалось осуществить.

Показателен состав русских переводчиков Ваянского. Многие из них в той или иной мере тяготели к славянофильскому направлению русской общественной мысли. Поэтическими переводами наиболее активно занимались: Н. П. Аксаков — философ, богослов и публицист, сотрудник ряда славянофильских изданий; Н. Нович (псевдоним поэта-переводчика Н. Н. Бахтина), много сделавший для пропаганды в России словацкой литературы (см., например, вышедший в 1901 г. под его редакцией сборник «Словацкие поэты»); А. Н. Сиротинин — известный филолог-славист, писатель и переводчик, мировоззренчески близкий А. С. Хомякову. Что касается прозаических переводов, то здесь наиболее активными были А. Г. Сахарова, Ф. Ф. Тютчев и А. Н. Сиротинин, о которых говорилось выше. В перевод прозы Ваянского внес свою лепту и молодой В. А. Францев, впоследствии известный славист, филолог и историк.

О значительном интересе к литературному творчеству Ваянского свидетельствует и довольно широкая география публикаций русских переводов его произведений. Кроме Санкт-Петербурга (Петрограда) и Москвы они печатались в Одессе, Харькове, Житомире, Гродно, Екатеринбурге, Варшаве и Вене.

Наконец, кратко затронем вопрос о качестве прозаических переводов, о степени их адекватности словацкому оригиналу. С позиции современной теории художественного перевода перед переводчиком стоит очень сложная задача — средствами родного языка создать целостную словесно-художественную структуру текста, оптимально близкую по своей содержательной, эстетической и стилистической ценности оригинальному тексту. К художественным переводам конца XIX — начала XX в. вряд ли можно в полной мере предъявлять подобные требования. Во всяком случае можно утверждать, что многие переводчики Ваянского явно не ставили перед собой такие высокие задачи. Они в целом правильно передавали общий смысл и основное идейно-тематическое содержание оригинала, однако, им не всегда удавалось «воспроизвести» своими языковыми и стилистическими средствами специфическую словесно-художественную манеру Ваянского. Между тем сам Ваянский придавал большое значение эстетической функции языка⁴, умелому и целенаправленному использованию языковых средств в художественных целях.

На более низком уровне текста — в конкретных языковых соотношениях — в переводах легко обнаруживаются как удачные находки, так и разного рода промахи и недостатки, в том числе и ошибки, обусловленные скорее всего недостаточным знанием словацкого языка, например, у Сахаровой: *priesmuk* — *тропинка* (вм. правильного *горный перевал*), *svrčipová hora* — *горная вершина* (вм. *ельник, еловый лес*), *sviatočné rucho* — *торжественное движение* (вм. *праздничное убранство*) и др.; у Францева: *srpný ráz* — *резвый нрав* (вм. *упрямый характер*), *páražka* — *упрек* (вм. *намеж*) и т. п.

У некоторых переводчиков заметно тяготение к буквальности, что в наибольшей степени, пожалуй, проявляется у Сахаровой, отчасти также у Францева, Сиротинина и др. В силу близости словацкого и русского языков дословный перевод приводит иногда к невнятной передаче и даже искажению смысла соответствующих фраз оригинала. Например, фразу

⁴ Он, например, писал: «Язык имеет не только филологическую, но и эстетическую сторону — он является предметом не только науки, но и искусства» [16].

из «Летающих теней»: «Náš pes a váš pes preskočili susedov plot!» Сахарова «переводит» буквально: «...наша собака и ваша собака перескочили через плетень соседа». В данном случае несомненно удачнее перевод Тютчева, который использует соответствующий фразеологизм: «...нашему забору двояродный плетень!» С другой стороны у Тютчева ярко выражены элементы слишком вольного перевода (со всеми вытекающими отсюда последствиями — пропусками и дополнениями в тексте перевода, своими субъективными стилистическими фигурами, иногда даже отсутствующими в подлиннике трактовками описываемых событий и персонажей). Приведем только один пример из романа «Летающие тени»: «Dôstojnosť slovenskej ženy bude sa ukazovať v plamennom chápaní všetkých veľkých záujmov životných, vo vrúcnosti citu...», верно по смыслу переведенный Сахаровой: «Достоинство славянской женщины должно проявиться в пылом понимании жизненных интересов, в нежности чувства». А вот как передает эту фразу Тютчев: «...когда жизнь потребует от нее самопожертвований, славянская женщина не задумываясь идет навстречу всякой опасности и гордо принимает удары судьбы. Она охотно жертвует всем ради свято исполненного долга. Разверните хотя бы историю России, и сколько встретите вы там славных женских имен, пожертвовавших всем для своего отечества». Это уже, конечно, не адекватный перевод, а скорее переложение на данную тему, причем такое, в котором делается прямая увязка с жизнью России. В других переводах нет такой прямой связи, но зато она проявляется косвенно, в частности, благодаря некоторым элементам русификации текста, например, в написании имен собственных, в обращениях: Jablonové — Яблоновка, Mariška — Маруся, Miško — Михайло, Milostivá ráni! — Барыня, голубушка! и др.

Сопоставление русских переводов произведений Ваянского с оригиналами, а также разновременных вариантов перевода одного и того же произведения может дать интересные наблюдения о сходных и отличительных способах и приемах, применяемых переводчиками для воссоздания образной картины оригинала, об исторической обусловленности и эволюции русской художественной речи, представленной в этих переводах, о большей или меньшей творческой самостоятельности переводчиков, об их мастерстве в использовании различных художественно-языковых средств, в частности, эпитетов, метафор, сравнений, фразеологических оборотов и т. п. В этом плане у отдельных переводчиков можно выявить как определенные успехи, так и существенные недостатки. Последние свидетельствуют о том, что в ряде случаев мы имеем дело не с художественным, а с так называемым «ремесленным» переводом. Рамки краткой статьи не позволяют, однако, даже в минимальной мере проанализировать соотношение релевантных компонентов структуры художественного текста оригинальных произведений Ваянского и соответствующих русских переводов. Опыт такого рода был предпринят нами ранее [17]. В этом отношении необходимы дальнейшие специальные исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Miko F. Preklad ako kategoria teorie literatúry. — Slovenská literatúra, 1984, № 4, s. 273.
2. Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1972, с. 6.
3. Vajanský zblízka. Výber z listov. Zost., úv., pozn. a vysv. napísal P. Petrus. Bratislava, 1987.
4. Lapeťová L. Svetozár Hurban Vajanský v ruských periodikách z konca 19. a začiatku 20. storočia. — Slovanské štúdie. T. XII. Historia. Bratislava, 1971, s. 178—197.
5. Петровский Н. Памяти С. Гурбана-Ваянского. — Вестник образования и воспитания. Казань, 1917, с. 573—584.
6. Светозар Гурбан-Ваянский. Библиографический указатель. Сост. И. В. Токсина (ВГБИЛ), А. Галаша и Б. Белак (Матица словацкая). М., 1978, с. 90.
7. Модный свет. СПб., 1890, № 2.
8. Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева. М., 1928.
9. Korešpondencia S. H. Vajanského. Zv. II. Bratislava, 1972.
10. Vajanský S. H. Ivan Sergejevič Aksakov. — Národné noviny, 1886, № 22.
11. Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988, с. 322.

12. *Лебедева Е.* Воспоминания о протоиерее Александре Алексеевиче Лебедеве.— Богословский вестник, издаваемый Императорскою Московскою Духовною Академиею.— Сергиев Посад, 1916, с. 297.
13. *Ровнякова Л. И.* Анна Сахарова — критик и переводчик польской литературы.— Славянские страны и русская литература. Л., 1973.
14. *Savickij V. D.* Tvorba slovenských spisovateľ'ov z konca 19. a. začiatku 20. storočia (Vajanský, Hviezdoslav) v ruských prekladoch a článkoch.— In: Z dejín československo-slovenských vzťahov. Slovenské štúdie. T. II. Bratislava, 1959, s. 387—402.
15. Славянские известия. СПб.
16. *Vajanský S. H.* State o slovenskej literatúre. Bratislava, 1956, s. 160.
17. *Смирнов Л. Н.* О переводах на русский язык романа Св. Гурбана-Ваянского «Летящие тени»: К вопросу о лингво-стилистической адекватности.— Slovenská a ruská literatúra. Bratislava, 1973, s. 154—168.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

I. PEDERIN. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409—1797) Dubrovnik, 1990, 243 s.

И. ПЕДЕРИН. Венецианская власть, хозяйство и политика в Далмации (1409—1797)

Автор рецензируемой книги, Иван Педерин, — историк, архивист, большой знаток богатейшей коллекции Исторического архива г. Задар. Этот архив собирался столетиями. Уже в 1450 г. венецианский дож Франческо Фоскари издал специальное распоряжение о регламентации архивного дела в Задаре. Постепенно архив вобрал в себя редчайшие ценности, его древнейшие документы на пергамене датированы X в. (В архиве, в частности, имеются мало известные советским исследователям материалы по истории научных связей России и Хорватии. В донесениях австрийской полиции можно встретить имена историков-славистов И. И. Срезневского, А.-М. Рейца, П. И. Прейса, славянофилов Н. И. Надеждина и И. С. Аксакова.) Несмотря на превратности судьбы (в 1942 г. фашисты вывезли архив в Италию), он почти полностью сохранился и сегодня является национальным достоянием Хорватии.

Задар — административный центр Далмации, и для ее истории особый интерес представляют фонды времен венецианского правления (1409—1797). Среди них девять книг фонда *Ducali e terminazioni*, содержащего постановление дожа и венецианских магистратур должностным лицам: синдикам, генеральным проводителям, капитанам и князьям. Все они были венецианцами и избирались на два—три года. Отложились в архиве и распоряжения названных чиновников, касающиеся исполнения ими своих обязанностей. Фонд уникален по составу и имеет далеко не только местное значение. Этот фонд и лег в основу исследования И. Педерина. Кроме того, автор проанализировал многотомное издание отчетов (до-Ресений) должностных лиц из Далмации,

опубликованных в прошлом столетии Шиме Любичем и в середине нынешнего века Грга Новаком (об этом типе источников мне уже приходилось писать на страницах журнала [1]).

Книга И. Педерина отличается от прежних исследований по истории Далмации тем, что автор решился посмотреть на проблему под новым углом зрения: его предмет — не история региона под властью венецианцев, а история Венецианского государства, включившего в свой состав Далмацию. Анализ венецианской государственности, по мысли автора, может дать ответ на вопрос, каким образом Республике св. Марка удалось сохранить господство на Адриатике в течение четырехсот лет. В историографии существует убеждение, что политическая устойчивость Венеции проистекала из умения искусно управлять [2]. Это подтверждается материалом книги Педерина, раскрывающей систематическую работу по поддержанию четкой взаимосвязи между должностными лицами, принимавшими решения в метрополии, и ответственными исполнителями в Задаре по обеспечению деятельности политической структуры Венецианского государства.

По мнению автора книги, венецианцы создали новый тип централизованного государства, где военная власть не была отделена от гражданской и значительная роль принадлежала профессиональной бюрократии. В городах Далмации венецианцы не уничтожили коммунальный аппарат, сохранив прежние византийские и королевские (города до 1420 г. входили в состав Венгеро-Хорватского королевства) традиции, но не сумели включить этот аппарат в собственную государственную структуру.

Педерин обращает внимание на неод-

нородность далматинского региона, где в городах преобладало этнически смешанное население, поддерживавшее в основном венецианцев (по терминологии автора, «республиканцы»), а в сельской местности — хорватское население, ориентированное на торговлю с феодалами внутренних районов и поддерживавшее прежних сюзеренов (по Педерину, «монархисты»). Можно согласиться с суждением автора, что в XVI в. Далмация не нужна была Республике только как перевалочный пункт, ибо техника мореплавания позволяла добираться до Леванта без остановок. Венеция желала завладеть караванными путями из Боснии и Сербии в Котор, Сплит, Задар, Трогир и Шибеник и для этого создала своеобразную торгово-пошлинную систему, которую Педерин сравнивает с системой меркантилизма. Она и привлекла на сторону Республики далматинское население.

Извлеченный из источников фактический материал убеждает, что выходу из кризиса в XVII в. помогла реорганизация власти: венецианцы перестали опираться только на Большие советы в городах (органы нобилитета) и включили в свою политическую структуру объединения простолудинов (братовщины, лиги) и церковь, покровительствуя этим институтам.

Вызывает интерес раздел о взаимоотношениях государства и церкви. Как известно, основное население Далмации исповедовало католицизм, после же начала войн с турками сюда стали прибывать православные, создавшие в местечке Сенье центр по борьбе с турками. В Сенье стали сосредоточиваться ускоки, которых венецианцы считали разбойниками и даже вели с ними войну, в то время как римский папа видел в них основную силу в борьбе с неверными.

Взаимоотношения церкви и государства всегда были напряженными, и в конце концов церковь была вытеснена из управления заведениями сферы мило-

сердия. Государство стремилось расширять круг своего делового влияния, в то время как церковь заботилась о сохранении традиций. Так, венецианцы потребовали права оглашать в церквях правительственные решения, права контроля доходов церкви, следили за составом и численностью монахов и монахинь в монастырях. В 1423 г. было вынесено решение о выборе епископа только из числа венецианских подданных, так как среди клира имелось много сторонников Венгеро-Хорватского королевства. Венецианцы пытались даже захватить ключи от раки с мощами св. Шиме; покровителя Задара. В целом же борьба велась не против церкви, а за включение ее в политическую структуру. Недаром венецианцы не раз напоминали папе, чтобы он не вмешивался в дела другого государства. И в этом Республика преуспела, что позднее создало образ Венеции как эталона либерального государства, покровительствовавшего церкви.

Книга И. Педерина будет интересна не только специалистам по истории южного славянства, но и исследователям средневековой Италии и европейских политических институтов позднего средневековья. Отмечу любопытный издательский опыт. Книга опубликована на деньги отдела по культуре Общины Задара и Дубровника, а ее редактором и коректором выступил сам автор. Она хорошо иллюстрирована и оснащена богатым справочным материалом.

Воробьева И. Г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьева И. Г. Венецианские источники по истории Далмации XV—XVII вв.— Советское славяноведение, 1986, № 4.
2. Климанов Л. Г. *Cor nostri status: историческое место канцелярии в Венецианском государстве.*— В кн.: Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI—XVII вв. Л., 1990, с. 80—105.

S. CEGELSKI, Ł. KODZIĘLA. Rozbiory Polski 1772—1793—1795. Warszawa, 1990, 352 s.

Т. ЦЕГЕЛЬСКИ, Л. КОДЖЕЛЯ. Разделъ Польши 1772—1793—1795

Книга адъюнктов гуманитарных наук Варшавского университета Т. Цегельского и Л. Коджели по своему жанру является научно-популярной, однако, ее значение для польской историографии

велико. Несмотря на то, что проблема разделов Польши была и остается в центре внимания исследователей, обстоятельно освещена как в обобщающих трудах, так и в работах, посвященных тем

Для иных проблем истории Польши XVIII в., специального монографического исследования истории разделов не имелось. Поэтому авторы рецензируемой книги приняли на себя нелегкий труд обобщить достижения в этой области как польских, так и зарубежных исследователей и вместе с тем сделать новый шаг в изучении истории Польши XVIII в., что им, бесспорно, удалось.

Первая глава — «Разделы Польши: система исторических факторов» — посвящена анализу причин, обусловивших эти события, в частности, исследованию кризисов международных отношений в Европе XVIII в., социально-экономического и политического строя Польши, упадка польской государственности, а также проблеме хронологических рамок политики разделов, в которой авторы выделяют два этапа: предыстория (1700—1763) и сами разделы (1764—1795). Во второй главе — «Предыстория разделов» — рассматриваются ситуация в Европе, сложившаяся в результате Северной войны и приведшая к установлению над Польшей российского протектората, оформленного, в частности, Конституциями 1717 г., а также международное и внутреннее положение Речи Посполитой в период правления саксонской династии. Главы с третьей по шестую посвящены центральной теме монографии: истории разделов Речи Посполитой; в седьмой рассматриваются их последствия. Заключительная, восьмая глава содержит анализ дискуссионных историографических проблем истории разделов и перспективных направлений исследований.

Центральное место в монографии занимает выяснение роли Польши в системе международных отношений в Европе, ее взаимоотношений с осуществившими разделы Австрией, Пруссией и Россией. Два выделенных авторами хронологических этапа политики разделов отражают достижения новейшей историографии проблемы. Если до 1960-х годов исследование политики разделов начиналось преимущественно с периода последнего бескоролья и избрания на польский престол Станислава-Августа, то в 1970—80-е годы стали более тщательно изучать предысторию разделов: как внутренние причины упадка польской государственности, так и развитие международных отношений, в частности, политики государств — участников разделов. В связи с этим Т. Цегельски и Л. Конджели поставили вопрос о характере европейских кризисов в XVIII в., которые свя-

зываются ими с процессами становления абсолютизма, изменениями в положении сословий, политикой внешней экспансии, территориальных приобретений. Авторы показали, что разделам Речи Посполитой предшествовали попытки разделов шведских и австрийских владений. Для европейской истории XVIII в. пересмотр государственных границ был явлением весьма распространенным, отражавшим изменение в соотношении сил между державами, причем национально-государственная форма разделов причудливо сочеталась с феодально-династической. Подобная политика в известной мере была следствием относительно невысокого уровня развития хозяйства, когда мощь государства была поставлена в зависимость от приобретения новых территорий, а следовательно, и роста населения, что в свою очередь стимулировало дальнейшую экспансию. Однако разделы Речи Посполитой занимали особое место, так как в их результате было ликвидировано одно из крупнейших европейских государств XVIII в.

Разделы Речи Посполитой стали следствием столкновения интересов феодальных абсолютистских монархий, изменения соотношения сил в Центральной Европе. Именно эти процессы и обусловили формирование трех кризисов, разрешением которых, в частности, стали разделы. Анализ развития этих кризисных ситуаций является, на наш взгляд, одним из существенных достоинств книги. Это тем более важно для читателя в нашей стране, где существует иная историографическая традиция освещения данного вопроса, восходящая к трудам С. М. Соловьева. Первый кризис 1768—1774 гг. был вызван активизацией России в ходе войны с Турцией и барскими конфедератами и ослаблением позиций Австрии, Пруссии и Франции. Однако, по мнению авторов, он еще не означал радикального изменения в соотношении сил, что в свою очередь определило относительную умеренность первого раздела, осуществленного в соответствии с рационалистическим принципом равновесия интересов держав-захватчиков. Кризис 1787—1792 гг. развивался в иных условиях. Резкое усиление России в результате присоединения Крыма и победы в войне с Турцией, с одной стороны, ослабление международных позиций Австрии и Франции в ходе нарастания Великой французской революции — с другой, стремление Англии привлечь Пруссию к антифранцузской коалиции — с третьей, обусловили факти-

ческую ликвидацию Польского государства и захват его земель Пруссией и Россией, при котором последняя получила львиную долю. В ходе третьего кризиса 1794—1795 гг. Россия выступила посредницей между Пруссией и Австрией, в частности, в вопросе о Кракове. При этом Россия стремилась не допустить дальнейшего укрепления этих двух держав, сохраняя выгодный для себя ба-

ланс сил между ними. Третий раздел Польши еще более, чем второй, преследовал цель ликвидации очага республиканизма и якобинства в Центральной Европе, опасность которых для абсолютистских монархий стала еще более очевидной в ходе восстания Т. Костюшки.

Носов В. В.

Новый труд по истории болгарской литературы

Не часто в Болгарии появляются обобщающие труды по истории национальной литературы, с тем бóльшим интересом была встречена книга С. Игова [1]. Она охватывает время от освобождения Болгарии от османского ига до освобождения народа от фашизма, время, по справедливому замечанию автора, «исключительно интенсивного развития» литературы, когда она «создает основной фонд художественных ценностей, считающихся сегодня классической принадлежностью национальной культуры» [1, с. 8]. У начала его стоит величественная фигура патриарха литературы И. Вазова, а завершается такими известными именами, как И. Йовков и Н. Вапцаров.

По замыслу автора, книга эта — не строго научный труд, не учебник, написанный по определенной программе, но опыт популярного изложения развития болгарской литературы, предназначенный для широких кругов читателей. Отсюда — авторская раскованность в изложении, в сопоставлении литературных фактов, в характеристике писателей или литературных объединений.

С. Игов известен как темпераментный литературный критик, отличающийся большой взмыслительностью и оригинальностью суждений. Эпическое повествование о судьбах болгарских писателей на протяжении десятилетий, казалось, не в духе его творческой индивидуальности, но рецензируемый труд свидетельствует о том, что в его лице удачно сочетается критик и историк литературы. Чутье критика проявилось там, где речь идет об оценке литературного произведения или писателя в целом, а достоинства литературоведа сказываются в характеристике литературных течений, в раскрытии особенностей литературного процесса, в концептуальном подходе к проблемам развития литературы.

В болгарском литературоведении наиболее значительный обобщающий труд — академическая «История болгарской литературы» [2], которая охватывает процесс ее развития с древнейших времен до 1944 г. Она создавалась в основном литературоведами старшего поколения и вбирала в себя опыт научной мысли 50-х — начала 70-х годов. С. Игов использует накопленный ею опыт, но еще в большей степени он опирается на достижения литературоведов 60-х — начала 80-х годов. В его труде из экономии места нет академических ссылок на источники или используемую литературу, но он довольно часто цитирует краткие оценки и характеристики писателей, принадлежащие различным критикам и литературоведам. Чаще других С. Игов привлекает оценки и суждения таких литературоведов, как Э. Каранфилов, М. Николов, М. Цанева, Т. Жечев, Б. Ничев, З. Петров, И. Панова и др. Таким образом, настоящий труд синтезирует литературную мысль последних десятилетий. С. Игов высказывает и свои оригинальные суждения, порой вступает в полемику с бытующими представлениями. В большей части его доводы представляются убедительными, но и в спорных случаях автор пробуждает мысль читателя, заставляет его по-своему оценить литературное явление, что само по себе не может не приветствоваться.

Другая особенность труда С. Игова состоит в том, что он стремится конкретное литературное явление (произведение, проблему, тему) дать в сопоставлении с предыдущим или последующим развитием, в результате чего складывается представление о литературно-художественном развитии, динамике процесса.

Так, касаясь проблемы большого города в произведениях болгарских писателей конца XIX в., он приходит к заключению, что София в литературе чаще

предстает как символ социального разложения, несет в себе негативный морально-оценочный знак. «Такой она предстает,— продолжает С. Игов,— в произведениях Вазова и Алеко Константинова, позднее у Стаматова и Страшимирова. Даже в новейшее время произведения с заглавием „софийский“ („Софийские рассказы“, „Город нашего страдания“ К. Калчева, „Софийская история“ Л. Станева и др.), скорее рассказы о серой повседневности или мрачных трагедиях, чем поэтически одухотворенная пластика города» [1, с. 66]. В другом случае в построении повести Елин Пелина «Герарковы» Игов обнаруживает «путь для семейно-родового романа, который позднее создавали Талев и Караславов» [1, с. 204].

С. Игов нередко прибегает и к широким историко-литературным сопоставлениям. «Если творцы, как Ботев, Вазов, Захарий Стоянов, Алеко Константинов,— пишет он,— представляли изобразительную мощь народа в его историческом самопознании, то творцы, как Пенчо Славейков, Яворов, Бояджиев, Дебелянов, Лилиев сумели в условиях до недавнего времени отсталой, полуориентальной страны дать с небывалой лирической мощью и выразительным совершенством одно из самых тонких познаний душевности современного человека» [1, с. 215]. Такого рода сопоставления, сравнения, экскурсы в предыдущее или последующее развитие приглашают читателя к включению в процесс размышлений.

В своем труде С. Игов выделяет три, а бы сказал традиционных, периода или, как он определяет, «подпериода литературной эпохи»: «от освобождения до начала века», «от начала XX в. до войны» и «между двумя войнами». В каждом из них выделяются монографические главы о творчестве наиболее значительных писателей: И. Вазов, А. Константинов в первом разделе, Пенчо Славейков, Елин Пелин, Яворов и Дебелянов во втором и Лилиев, Смирненский, Милев, Йовков, Вапцаров — в третьем. Остальные авторы, как и литературные течения, общественно-литературная жизнь включаются в обзорные или обобщающие главы. Не имея возможности анализировать каждую из монографических глав, отметим, что они написаны живо, темпераментно, с пристальным вниманием к развитию литературных жанров, разнообразных стилей, поэтики. У читателя остаются запоминающиеся образы подлинных творцов и художников слова.

В академической «Истории болгарской

литературы» обобщающие главы выделяются преимущественно по десятилетиям (отдельно 80-е и 90-е годы, а в межвоенный период — 20-е, 30-е и 40-е), что нельзя признать удачным, так как не соответствует характеру развития литературы. С. Игов пошел по линии конкретизации литературного процесса и в этом отношении его обобщающие главы структурно более оправданы и создают более четкое представление о существенных особенностях литературного процесса. Так, в первом разделе даются обобщающие главы: «Литература от освобождения до конца века», «Мемуарный эпос бунта» с преимущественным вниманием к книгам З. Стоянова, «Реалистическая проза 80—90-х годов», с краткими характеристиками творчества Ц. Гинчева, Т. Влайкова, М. Георгиева и А. Страшимирова; завершается раздел главой «Возникновение социалистической литературы». Здесь в центре внимания литературная деятельность Д. Благоева, Киркова и Полянова, обычно относимая к пролетарской литературе (в нашем представлении понятие «социалистическая литература» более широкое и применительно к рассматриваемым авторам меньше подходит).

Необычным представляется расположение глав в книге: глава о Вазове перед главой с общей характеристикой литературной жизни 80—90-х годов. Мотивируется это тем, что Вазов начинал свой путь в эпоху Возрождения, у него сохранялся «возрожденческий пафос», но вряд ли этот довод убедителен. Характеристикой творчества Вазова С. Игов убеждает читателя, что тот являлся писателем нового типа, времени после национального освобождения. А возрожденческий пафос в это время характерен не только для Вазова, но и для З. Стоянова, К. Величкова. Литературный портрет Вазова после обзорной главы имел бы больший смысл в историко-литературном плане. Также кажется не убедительным и помещение монографической главы о П. Славейкове во втором разделе до общей характеристики литературного движения начала XX в. Действительно, П. Славейков начинал свой путь еще в русле вазовской реалистической традиции, но как поэт, как крупная личность в болгарской культурной и литературной жизни — и об этом убедительно и хорошо пишет С. Игов — он сложился в начале нашего столетия.

Интересно отметить, что глава о Йовкове дается ведь не до общей характе-

ристики литературы межвоенного периода, хотя по логике С. Игова следовало бы и ее поместить раньше, ибо как оригинальный писатель Йовков заявил о себе еще до окончания первой мировой войны. Словом, здесь возникают противоречия у автора в следовании им самим выдвинутому принципу.

С другой стороны, вполне обоснованно рассмотрение творчества А. Страшимирова в разных главах и даже в разных разделах. Он — активный участник литературной жизни 90-х годов, поэтому в первом разделе мы найдем параграф о его творчестве, а поскольку он оставил заметный след в прозе и особенно драматургии начала XX в., ему посвящен один из параграфов второй части; он же как публицист и автор романа «Хоро» (1926) прокладывал новые пути в болгарской литературе межвоенного периода, и в соответствующем разделе дана оценка его произведений 20—30-х годов. Думаю, что также следовало бы дать в разных разделах и характеристику Л. Стоянова (активный символист начала века, а затем — антифашистский деятель, автор значительных произведений в поэзии и прозе 30-х годов).

Во втором разделе читатель найдет немало нового не только в монографических, но и в обобщающих главах: «Модернизм и традиционные движения в начале века» и «Болгарский символизм». Здесь очень убедительна позитивная характеристика журнала «Мисъл» и круга его активных деятелей — П. Славейкова, К. Крыстева, П. Яворова и П. Тодорова, — раскрываются их позиции, индивидуальные особенности, поиски обновления национальной литературы, повышения ее художественного уровня (при этом не без бравоирования эстетскими принципами), обращено внимание и на их непримиримость к монархо-реакционному режиму. Конечно, такие оценки круга журнала «Мисъл» уже встречались в новейших работах болгарских литературоведов, но здесь эти оценки представлены в синтезированном виде как часть литературно-эстетической мысли, очень убедительно раскрыты их новаторские поиски, в том числе и в области «европеизации» литературы.

Плодотворной представляется мысль С. Игова о выделении трех этапов развития болгарского модернизма: начала века (во главе со Славейковым и Крыстевым), в период подъема символизма (с 1905—1907 гг. до конца мировой войны) и в период распада символизма

в первой половине 20-х годов. При характеристике болгарского символизма убедительно раскрывается его поэтика и даются краткие сведения о наиболее значительных ее представителях — Т. Траянове, Е. Попдимитрове, Х. Ясенове, Н. Райнове, учтены и взгляды критики (И. Радославов, Д. Кьорчев).

Монографические главы, как и в предыдущем разделе, написаны раскованно, эмоционально, с проникновением в особенности художественного видения писателя. Они не похожи на застывшие академические литературные портреты; побуждают вновь обратиться к самим текстам. В целом второй раздел, раскрывающий смысл наиболее значительных произведений, духовное и художественное богатство писателей начала века, в наибольшей степени удался автору.

В третьем разделе несколько обобщающих глав: «Направления в межвоенной литературе», «Поэзия между двумя мировыми войнами», «Болгарские поэтессы», «Между сентябрем 1923 и сентябрем 1944». Представляется сомнительным выделение «поэтесс», которые будто бы составляют нечто особенное в литературной жизни. Тем более, что здесь в центре оказывается Е. Багряна, внесшая крупный вклад в национальную поэзию.

Первая обобщающая глава привлекает внимание, в частности, введением понятия «авангардизм» применительно к творчеству Г. Милева и кругу журнала «Везни» (1919—1922), что плодотворно, так как позволяет обратить внимание на специфику новых тенденций в болгарской литературе, поставить их в контекст с общеевропейским литературным развитием. В этой же главе — краткая, но содержательная оценка драматургии Р. Стоянова и С. Костова, литературно-критической деятельности Б. Пенева, В. Василева, А. Балабанова, И. Мешкова, Г. Цанева.

В главе о поэзии, кроме общей характеристики ее развития, С. Игов останавливается на творчестве Н. Фурнаджиева, А. Разцветникова, А. Далчева, А. Вутимского. Глава о прозе содержит сведения о творчестве писателей общедемократического направления: А. Каралийчеве, Г. Райчеве, С. Минкове, К. Константинове, К. Петканове, Чудомире, С. Загорчинове. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что здесь как бы «вынуты» революционно-пролетарские писатели и отнесены к главе «Между сентябрем 1923 и сентябрем 1944». В результате общая картина процесса развития раз-

ных тенденций в прозе пострадала. Думаю, что и характеристика литературы 1923—1944 гг. могла бы быть углублена за счет раскрытия специфических особенностей антифашистской и революционно-пролетарской поэзии и прозы.

В третьем разделе явно недостает присутствия в болгарской литературной жизни классической русской и советской литературы. А ведь таким материалом автор располагал, достаточно вспомнить хотя бы труд болгарских литературоведов в 3-х томах «Советская литература в Болгарии. 1918—1944», не говоря уже о ряде специальных исследований. Это тем более огорчительно, что в своем труде автор успешно вводит материал, указывающий на связь болгарских авторов со своими собратьями из других славянских литератур. Различные сравнения и сопоставления со сходными явлениями в других литературах, как и их непосредственные связи давали возможность для более широких обобщений и выводов, что сейчас упущено.

У автора было стремление дать более широкую информацию и о писателях

не столь значительных. Так, в разных главах появились параграфы: «другие имена», «другие прозаики», «другие поэты», «другие поэтессы». В них сухо и безлико даются совсем краткие справки, мало что объясняющие читателю и выбивающиеся из общего стиля изложения.

Но это все частности. А в целом автору удалось передать и богатство, и сложность развития болгарской литературы. Закрываешь последнюю страницу этого обстоятельного труда с благодарностью автору, который вводит в мир эстетических идей, художественных ценностей, продолжающих волновать и сегодня как болгарских читателей, так и почитателей болгарской литературы за ее рубежами.

Злыднев В. И.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Игов С.* История на българската литература. 1878—1944. София, 1990, 443 с.
2. История на българската литература. Т. 1—4. София, 1962—1976.



НОВОЕ О М. П. ПОГОДИНЕ

23 апреля 1991 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ) состоялись историографические чтения, на которых обсуждался доклад канд. ист. наук А. Н. Бачинина (Брянский пед. институт) «М. П. Погодин: официальная народность или славянофильство?». Автор отметил, что по известным причинам идеологического порядка в советской историографии не сформировалось традиций в изучении отечественной консервативной общественной и исторической мысли. Историки-марксисты повторяли негативные оценки, данные в свое время консерваторам их противниками-радикалами. Особенно не повезло в этом плане известному русскому историку М. П. Погодину (1800—1875).

Имя и дело Погодина исследователи, начиная с А. Н. Пыпина, традиционно связывали с теорией официальной народности (далее — ТОН). По мнению докладчика, вопреки сложившимся представлениям уваровская консервативная национально-этнографическая идея не была направлена на интеллектуальный застой или искусственную изоляцию России от Европы. Это была санкционированная царем концепция *практического* руководства развитием народного просвещения для обеспечения этико-политической гегемонии самодержавия в противовес декабристскому пониманию путей преобразования России. Желая сохранить «коренные начала», составляющие, по мнению С. С. Уварова, отличительный характер России и способные предохранить ее от разрушительных революционных идей, идущих с Запада, министр народного просвещения тем самым полагал обеспечить стабильность страны, а значит, и возможность усиленного наращивания ее интеллектуального потенциала, сопоставимого с другими европейскими нациями. «Народность», полагал Уваров, способна консолидировать общество с властью, что является условием «естественному и тем

надежнейшему мирному и прочному развитию просвещения». Он отвергал крайности как ортодоксального традиционализма, так и западноевропейского просвещения, предлагая России идти «средним путем между двух крайних мнений, равно односторонних и опасных».

Отвечая на вопрос, был ли М. П. Погодин апологетом «официальной народности», А. Н. Бачинин проанализировал текст лекции ученого «Взгляд на русскую историю» (1832), признанной в литературе первым публичным изложением ТОН. Автор отметил нетождественность многих погодинских положений уваровским. По мнению Бачинина, Погодин выдвигал здесь плодотворную идею о «соположенности» русского и западноевропейского исторического процессов, выступал против исторического европоцентризма, показал инверсионность явлений русской истории по сравнению с историей Европы, не выходя за рамки целостного отношения ко всемирно-историческому процессу. Бачинин находит в лекции черты раннего почвенничества — выдвигание на первый план доминанты естественно-этнических связей (по Шеллингу).

Автор отметил далее, что к середине 1830-х годов Погодин все более увлекается идеей мессионистского предназначения России, выраженного им в понятии «западно-восточного», или «европейско-русского», синтеза как высшего этапа национально-самобытного развития страны; при этом Россия должна стать «нацией-наследницей», вобравшей в себя главные достижения европейской мысли и цивилизации.

По мнению Бачинина, Погодин все надежды на блестящее будущее России связывал с развитием просвещения, недаром его друг С. П. Шевырев называл его «новым изданием Новикова в XIX столетии». Путь к свободе и прогрессу мыслился ученому (воспитателю наследника-цесаревича) только в законных формах

просвещение верхов, формирование человеколюбивой царской власти, затем реформы (как у Н. М. Карамзина). Все средства он считал полезными для просвещения России и потому часто апеллировал к правительству, проявляя при этом верноподданнические чувства, основанные на глубоких религиозных убеждениях. Свое отношение к формуле Уварова и трактовке им ТОН Погодин выразил за несколько лет до смерти, в 1873 г. ТОН была для него воплощением курса «просвещенного консерватизма», причем не в русском, а западном понимании. Исходя из сказанного, Бачинин признает прежние представления о Погодине как о некоем «штатном» пропагандисте ТОН ошибочными. По его мнению, университетская и журналистская деятельность Погодина носила отчетливо выраженный просветительский характер и принесла большую пользу.

Бачинин выдвинул положение о принципиальной близости взглядов Погодина и славянофилов. Обосновывая этот тезис, он отверг сложившееся в последние десятилетия в трудах отечественных славянофилоvedов представление о либерализме ранних славянофилов. Докладчик полагает, что по своему мировоззрению как Погодина, так и славянофилов нельзя отнести к либералам, ибо идеалом последних была (при политической умеренности) система ценностей, основанная на освобождении личности от влияния авторитетов церкви и государства. Бачинин считает, что говорить можно не о славянофильстве как целостном направлении в русской общественной мысли, а только о мировоззрении отдельных славянофилов, которое имело существенные различия. В этом смысле отдельные взгляды Погодина совпадали со взглядами А. С. Хомякова, И. В. Киреевского, К. С. Аксакова, в особенности в понимании важности русского национального начала и путей решения Восточного вопроса.

А. Н. Бачинин особо остановился на положении о «панславизме» М. П. Погодина. По его мнению, Погодин шел к нему от языка «Повести временных лет» и православной христианской историософии, полагая, что внутреннее единство славян должно укрепляться употреблением единого литературного языка (великорусского) в качестве языка межславянского общения (при сохранении национальных языков). Конечную цель такого единства Погодин (как и Ф. И. Тютчев) видел в создании всеславянской кон-

федерации во главе с русским монархом. Проблема «Погодин и Польша» представляется Бачинину в эволюционном развитии. В отличие от славянофилов Погодин всегда относился к полякам с симпатией, восхищаясь чертами их национального характера. Он лично знал многих представителей польской науки и культуры: Мицкевича, Линде, Лелевеля, Кухарского, Мацеёвского и др.; поддерживал развитие просвещения в Польше (под контролем самодержавия), в 1850-е годы одним из первых в России выдвинул два проекта польской автономии. Только в период польского восстания 1863—1864 гг. Погодин резко осудил террористические действия польской шляхты. Но на славянском съезде в 1867 г. в Москве он уже искренно сожалел об отсутствии польской делегации и пр.

В отношении методологической позиции Погодина (кто он: романтик или позитивист?) Бачинин не дал однозначного ответа. По его мнению, Погодин был противником теорий и обобщений, тяготел к фактологии, но в то же время ему было присуще мистическое созерцание, предчувствия в духе романтического шелленгианства.

В обсуждении доклада приняли участие сотрудники сектора истории славистики и балканистики ИСБ. Е. П. Аксенова подчеркнула на примере М. П. Погодина важность разработки жанра научной биографии историков. М. А. Робинсон положительно оценил стремление докладчика отойти в оценке Погодина от сложившихся стереотипов, по-новому оценить ТОН, славянофильство и отношение к ним ученого. По мнению Робинсона, историк науки должен пытаться также объяснить, почему А. Н. Пышин в дореволюционной историографии относил Погодина к творцам ТОН, почему в советской литературе в определенный период стал подчеркиваться либерализм славянофилов. В отношении методологических принципов Погодина следует помнить, что позитивизм не тождествен фактологии. Приверженность к любой методологии не избавляет историка от овладения ремеслом, техникой исследования, умения интерпретировать факты. Таким был, например, Леопольд фон Ранке, романтик по убеждениям, создавший в Европе блестящую школу исследования исторических источников.

М. Ю. Досталь также одобрила стремление докладчика к объективному освещению такой сложной и противоречивой личности, как Погодин, яркого предста-

вителя российского консерватизма. В то же время некоторые положения доклада Бачинина вызвали возражения с ее стороны. По мнению Досталь, Уваров, провозглашая коренными «началами» русского народа «самодержавие, православие и народность» не был оригинален, используя в другой интерпретации старый русский патриотический лозунг «За веру, царя и отечество». Уваров не дал точной формулировки своей «теории», предоставив последователям официальной доктрины свободно толковать ее основные категории. Важнейшие различия в толковании касались общего подхода к освещению антитезы Россия — Запад. В этом отношении наиболее ярким приверженцем традиционалистского подхода среди сторонников ТОН проявил себя издатель журнала «Маяк» (1840—1845) С. А. Бурчак. Ближе всего к трактовке Уварова находились издатели газеты «Северная пчела» (1825—1864) Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, придерживавшиеся умеренно-западнических позиций. Наконец, издатель журнала «Москвитянин» (1841—1856) Погодин, неоднократно заявлявший на его страницах о своей приверженности ТОН, провозглашая свой центризм, склонялся, однако, к традиционализму. Здесь он был близок к славянофилам, хотя его панславистские настрое-

ния разделяли из них только А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. Взгляды же Погодина на другие положения славянофильской доктрины (которая, несмотря на различия в позициях славянофилов, имела определенную цельность), как то: учение о «Земле и Государстве» К. Аксакова, об общине и пр., весьма существенно отличались от славянофильских.

Как и Бачинин, Досталь считает, что Погодин был консерватором-прогрессистом. В мировоззрении славянофилов при всем их стремлении к реформам и буржуазным свободам, она также отмечает черты консерватизма (религиозность, монархизм). По остроумному замечанию известного польского историка А. Валицкого, выступавшего в ИСБ 27 марта 1991 г., те, кто говорят о либерализме славянофилов, не понимают самого существа либерализма в его первоначальном западноевропейском понимании: антимонархизм, буржуазные свободы (особенно свобода личности), апологетика капиталистических отношений. Все это отсутствовало, по его мнению, у славянофилов. Разве что предположить какой-то особый вариант российского либерализма, исключавший эти основополагающие понятия. Оппозиция режиму также не тождественна либерализму.

Досталь М. Ю.

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ А. Х. КЛЕВАНСКОГО

31 октября 1990 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР состоялось расширенное заседание сектора истории межвоенного периода стран Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ), посвященное памяти известного богемиста, автора многих работ по истории Чехословакии, организатора и руководителя ряда проблемных коллективных трудов по региону, доктора исторических наук Александра Харитоновича Клеванского (1921—1985). Открывая заседание, Р. П. Гришина отметила, что в оставленном А. Х. Клеванским солидным научном наследии что-то, естественно, устарело и еще устареет, но немало и такого, что уже вошло в фундамент исторического знания. Как ученый, он был счастлив, найдя в учениках продолжателей своего дела.

Основное место в научной деятельности А. Х. Клеванского, подчеркнула В. И. Беляева, занимали проблемы истории Че-

хословакии межвоенного периода. В 1965 г. в издательстве «Наука» вышла его книга «Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус». В ней с той степенью объективности, какая была доступна в то время историкам нашей страны, автор проанализировал один из самых сложных и болезненных вопросов советско-чехословацких отношений — историю Чехословацкого корпуса в годы гражданской войны в России. Основанная на богатом архивном материале, монография А. Х. Клеванского явилась заметным явлением в советской историографии.

К. П. Гогина осветила роль А. Х. Клеванского в становлении и развитии советской богемистики. Придя в институт, он сразу включился в работу над вторым и третьим томами «Истории Чехословакии», являвшейся первым фундаментальным исследованием такого рода в СССР. Помимо привлечения новых ма-

териалов, его авторы разработали периодизацию истории чешского и словацкого народов, обратились к проблемам культуры.

И. В. Михутина отметила, что в 70-е годы авторский коллектив историков межвоенного периода, возглавляемый И. И. Костюшко и А. Х. Клеванским, выпустил монографию «VII конгресс Коминтерна и борьба за создание Народного фронта в странах Центральной и Юго-Восточной Европы» (М., 1977). Авторы задались целью преодолеть характерный ранее для отечественной историографии «коммуноцентризм» — изучение коммунистического движения вне его реальной роли в политической структуре той или иной страны. Не случайно в качестве центральной была выбрана проблема Народного фронта, поскольку это давало возможность включить в поле зрения наряду с коммунистами весь спектр неревolutionных левых и центристских сил. В процессе работы становилось ясно, например, что социал-демократы не были «предателями интересов рабочего класса», как много лет называла их официальная пропаганда, а являлись представителями альтернативного коммунизму направления в марксизме, стремившимися осуществить иными, чем коммунисты, средствами ту же идею социального переустройства общества, что все демократические силы с большой осторожностью относились к сотрудничеству с коммунистами в 30-е годы, опасаясь их всеразрушающего радикализма. Не все можно было открыто писать, но многое тогда удавалось выразить «эзоповым» языком, понятным, к сожалению, лишь профессионалам.

Логическим продолжением этого первого опыта стало обращение к системному анализу общественно-политического развития стран ЦЮВЕ, что нашло отражение в трудах «Проблемы истории кризиса буржуазного политического строя. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период» (М., 1984), «Социальная структура и политические движения в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Межвоенный период» (М., 1986), а также в задуманной и начатой под руководством А. Х. Клеванского, но не завершённой, к сожалению, без него коллективной монографии «Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1917—1929» (М., 1988). А. Х. Клеванский играл ведущую роль в выборе исследовательских проблем и разработке концепций названных трудов.

В. В. Зеленин рассказал о совместной работе с А. Х. Клеванским сначала в авторском коллективе по подготовке монографии «Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран — участники Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны в СССР» (М., 1967), а затем и в одном секторе. Своими воспоминаниями о А. Х. Клеванском поделились также И. Б. Греков, Д. Ф. Поплыко, О. Н. Майорова, Е. Ф. Фирсов и др.

Время не стоит на месте. Но благодаря тому, что А. Х. Клеванский как историк отличался строго профессиональным подходом к работе, тщательно отбирал факты, собранный им исторический материал и многие его выводы не потеряли научной значимости и сегодня.

Кириллова-Угрюмова Т. В.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΒΟΤ Α.-Θ. Ν. ΤΑΧΙΑΟΟΑ

(κ 60-λετιου со дня рождения)

Πυβλικυεμύη οπισο κ ραβοτ в πολλήη κηρηεуηзуη широту научных интересов исследователя и их хронологический размах: от IX до начала XX вв. В целом проблематика работ А.-Θ. Ν. Тахиаοοα — греко-славянские культурные и церковные связи на протяжении их более чем тысячелетней истории в рамках православного единства. Внутри этой большой общей темы отчетливо прослеживаются меньшие: Αφον κακ κεντρ православных связей, судьбы исихазма в славянских странах (и κακ ее индивидуальное ответвление — деятельность «последнего великого аскета» Παисия Величковского и его учеников), греческая иерархия в славянских странах и ряд более мелких. В последнее время исследователь обратился к изучению жизни и деятельности митрополита Φοτιη, справедливо рассматриваемого им κακ одна из ключевых фигур русской церковной, политической и культурной истории и русско-византийских связей XV в.

Προφессору Тахиаοοу принадлежит заслуга и честь первого ознакомления мировой славистики с одним из крупнейших собраний славянских рукописей Αφον, особенно интересным для отечественных исследователей, — Русского Пантелеймонова монастыря.

Χαρηεριστική на страницах нашего журнала Α.-Θ. Ν. Тахиаοοα была бы неполной без упоминания о том, что он основатель и главный редактор «Cyrillomethodianum» — неперiodического продолжающегося издания, выпускаемого в Φεσσαλονικαх Греческой ассоциацией славистических исследований, хорошо известного славистам всех стран.

1960

1. Η κατά τον ΙΒ' αιώνα γενομένη απόπειρα διασπάσεως της διοικητικής ενότητος της Ρωσικής Εκκλησίας.— Γρηγόριος ο Παλαμάς, 46, 176—185, 248—257 (Ποпытка разрушить административное единство русской церкви XII в.).

1961

2. Ο μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανός Τσάμπλακ. Ανάτοπο από τον 6 τόμο της Επετηρίδας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 85 σ. (Μитрополит России Киприан Цамблук).

1962

3. Το Γεοργιανικόν Ζήτημα (1868—1918). Συμβολή εις την ιστορίαν της ρωσικής πολιτικής εν Αγίω Ορει. Θεσσαλονίκη, 124 σ. (Грузинский вопрос (1868—1918). К истории русской политики на Святой Горе).

4. Επίδράσεις του Ιсихαζμού εις την εκκλησιαστικήν πολιτικήν εν Ρωσία. 1328—1406. Θεσσαλονίκη, 155 σ. (Влияние исихазма на церковную политику в России. 1328—1406).

1963

5. Περὶ καταργήσεως των архιεπισκόπων Αχρίδος και Πεκίου επί Γενναδίου του Σχολαρίου.— Γρηγόριος ο Παλαμάς, 49, 202—211. (Ο ликвидации архиепископий Охрида и Печа при Геннадии Схоларии).

6. Die Aufhebung des bulgarischen Patriarchats von Tirnovo.— Balkan Studies, 4 (1963), 67—82.

7. Αι μετά του Αγίου Ορους σχέσεις της Ρωσίας μέχρι του 14ου αιώνας.— In: Αθωνική Πολιτεία. Επι τη χιλιετηρίδι του Αγίου Ορους. Θεσσαλονίκη, 491—508. (Сношения России со Святой Горой до XIV в.).

8. Der V internationale Slavisten — Kongress in Sofia, 17—23. September 1963.— Balkan Studies, 4, 406—409.

9. Ρεϋ. ηα: Studia in honorem ducentesimorum aniversariorum Historiae Slaveno-bulgaricae Paisii scribendae.— In: Balkan Studies, 4, 467—477.

10. Ρεϋ. ηα: Kleine slavische Biographie. Wiesbaden, 1958.— Balkan Studies, 4, 215—218.

1964

11. Βλαδίμηρος Λόσκυ.— In: Η μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας. Μετάφρασις Σ. Κ. Πλευράκη. Θεσσαλονίκη, σ.ε'—ιβ'. (Владимир Лосский).

12. Ο Παΐσιος Βελιτκόφσκι (1722—1794) και η ατκητικοφιλολογική σχολή του. Θεσσαλονίκη, 150 σ. (Паисий Величковский (1722—1794) и его аскетико-филологическая школа).

13. Σύμμεικτα περί της Σχολής του Πάισιου Βελιτσκόφσκι.— Αριστοτελείον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής, 10, 673—693. (Заметки о школе Паисия Величковского).

14. Controverses entre Grecs et Russes à l'Athos.— In: Millénaire du Mont Athos, 963—1963. Etudes et mélanges, II. Chevetogne, 159—179.

1966

15. Clément d'Achrida dans l'actualité bulgare.— Balkan Studies, 7, 434—447.
16. Τα πρώτα σλαβικά θρησκευτικά ποιήματα της εποχής των αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου.— Εκκλησία, 43, 474—478. (Первые славянские религиозные стихи эпохи свв. Кирилла и Мефодия).

17. Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Έλληνες απόστολοι των Σλάβων.— Μακεδονική ζωή, I, N1, 12—13. (Кирилл и Мефодий, греческие апостолы славян).

18. Jedno malo poznato delo Hristifora Zefarovicica.— Prolog istorii grcko-srpskih kulturnih odnosa.— Istorijski casopis, 14/15, 347—360.

19. Le monachisme serbe de saint Sava et la tradition hésychaste athonite.— Hilandarski zbornik, I, 83—89.

20. Τσάνκο Λαβρένωφ.— Διαγώνιος, 2, 141—144 (Цанко Лавренов).

21. Рец. на: М. Stojanov, H. Kodov. Opis na slavjanskite räkopisi v Sofijskata Narodna Biblioteka. Sofia, 1964.— Balkan Studies, 7, 531—532.

22. Рец. на: К. Mircev, H. Kodov. Epinski Apostol. Starobälgarski pametnik ot XI v. Sofia, 1965.— Balkan Studies, 7, 536—537.

1967

23. Τα «ρωσικά γράμματα» εις τον «Βίον» του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου.— In: Θεολογικόν Συμπόσιον. Τόμος χαριστήριος προς τον καθηγητήν Π. Κ. Χρήστου. Θεσσαλονίκη, 291—310. («Русские письма» в Житии Константина-Кирилла)

1968

24. Kliment Ohridski.— In: Kliment Ohridski. Materiali za negovoto cestvuvane po slucaj 1050 godini ot smartta mu. Sofija, 88—89.

25. Η εθνικότης Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά τας σλαβικές ιστορικές πηγάς και μαρτυρίας.— In: Κυρίλλω και Μεθοδίω τόμος εόρτιος επι τη 1100ετηρίδι. II. Θεσσαλονίκη, 85—132. (Национальность Кирилла и Мефодия в славянских исторических источниках и свидетельствах).

26. Η Εκκλησία της Ρωσίας.— In: Ο κόσμος της Ορθοδοξίας. Θεσσαλονίκη, 69—88. (Церковь России).

27. Περί πνευματικών ρευμάτων εις την σλαβικήν Ορθοδοξίαν κατά τον 18ον και 19ον αιώνα.— In: Ορθόδοξος πνευματικότης, Χριστιανισμός, Μαρξισμός. Θεσσαλονίκη, 66—90. (О духовных течениях в славянском православии 18 и 19 вв.)

1970

28. Pierre Dumont (Некролог)— Γρηγόριος ο Παλαμάς, 53, 538—540.

29. Ιστορία των Σλαβικών Ορθόδοξων Εκκλησιών. Πανεπιστημιακά παραδόσεις. Θεσσαλονίκη, 180 σ. (История славянских православных церквей).

30. Ιππόλυτος Γκοφττέτερ. Ένας Ρώσος σοφός εις την Θεσσαλονίκην.— Μακεδονικόν ημερολόγιον, 183—187. (Ипполит Гофштеттер. Русский философ в Салониках).

31. Рец. на: Magna Moravia. Commentationes ad memoriam missionis byzantinae ante XI s. Pragaе, 1965.— Ελληνικά, 23, 404—407.

32. Рец. на: I. E. Ανασταζίου. Βίος Κωνσταντίνου—Κυρίλλου, Βίος Μεθοδίου, Βίος Κλήμεντος Αχρίδος. Θεσσαλονίκη, 1968.— Ελληνικά, 23, 407—408.

33. Рец. на: Magnae Moraviae fontes historici, vo. I. Pragaе—Brunae, 1966.— Ελληνικά, 23, 407.

1971

34. Η Διήγησις περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εις τον σλαβικόν κώδικα Χιλανδάρειου 280.— Κληρονομία, 3, 355—365. (Сказание о взятии Константинополя в славянской рукописи Хиландаря, 280).

35. Nouvelles considerations sur l'oeuvre littéraire de Démétrius Cantacuzène.— Cyrillomethodianum, I, 131—182.

36. Создание и деятельность литературного круга Константина-Кирилла до моравской миссии — В кн.: Константин-Кирил Философ. Доклады от Симпозиума посвящена на 1100-годишнината от смъртта му София, с. 285—293.

37. Идеи Паисия Хилендарского в связи с греческим возрождением XVIII века — In: Actes du premier Congrès des études balkaniques et sud-est européennes. VII. Sofia, p. 125—127.

38. III Congressus Internationalis Historiae et Philologiae Slavicae Salisburgo-Ratisbonensis. 1—7 juillet 1970.— Cyrillomethodianum, I, p. 207—208.

39. Рец. на: Л. П. Жуковская. Древние славянские переводы византийских и сирийских памятников в книгохранилищах СССР.— Палестинский сб., 19, 1971.— Cyrillomethodianum, I, p. 212—213.

40. Рец. на: В. С. Голыщенко, В. Ф. Дубровина. Синайский патерик. М., 1967.— Cyrillomethodianum, I, p. 213—214.

41. Рец. на: А. И. Иванов. Литературное наследство Максима Грека. Л., 1969.— Cyrillomethodianum, I, p. 214—215.

1972

42. Ανέκδοτα ελληνικά και ρωσικά έγγραφα περί του Γεωργιανικού Ζητήματος.— Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής, 17, σ. 217—272. (Неизданные греческие и русские документы о Грузинском вопросе).

43. Ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος Αχρίδων.— Μακεδονικά, 12, σ. 12—32. (Последний архиепископ Охридский).

44. Рец. на: Γ. Π. Μαυραλάκη. Το Άγιον Όρος (Αθός) διά μέσου των αιώνων. Θεσσαλονίκη, 1971.— Μακεδονικά, 12, σ. 521—525.

1973

45. L'origine de Cyrille et de Méthode. Verité et légende dans les sources slaves.— Cyrillomethodianum, II, p. 98—140.

46. L'oeuvre littéraire de Cyrille et de Méthode d'après Constantin Kostenecki.— Balkan Studies, 14, p. 293—302.

47. Symposium «Six siècles de Krusevac». Krusevac 4—9 octobre 1971.— Cyrillomethodianum, II, p. 187—188.

48. Рец. на: Varangian Problems. Scando — slavica. Supplementum, I, 1970.— Cyrillomethodianum, II, p. 189—190.

49. Рец. на: Д. Петканова. Из гръцко-българските книжовни отношения през XVII—XVIII в.— Годишник на Софийския Университет. Ф-т по слав. фил., 62, 1969.— Cyrillomethodianum, II, p. 190—191.

50. Рец. на: W. K. Medlin, C. G. Patrinelis. Renaissance Influences and Religious Reforms in Russia. Geneve, 1971.— Cyrillomethodianum, II, p. 191—192.

51. Рец. на: Γ. Ταρνανίδης. Τα προβλήματα της μητροπόλεως Καρλοβυζίων κατά τον ΙΗ, αιώνα και ο Jovan Rajic. Θεσσαλονίκη, 1972.— Cyrillomethodianum, II, p. 193.

52. Рец. на: Ε. Ξ. Гранстрем. Византийское рукописное наследие и древняя славяно-русская литература.— В кн.: Пути изучения древнерусской литературы и письменности. Л., 1970. с. 141—148.— Cyrillomethodianum, II, p. 194.

53. Рец. на: Α. С. Львов. О пребывании Константина Философа в монастыре Полихрон.— СС, 1971, № 5.— Cyrillomethodianum, II, p. 194.

1974

54. Le monument hésychaste pendant les dernières décennies du XIV^e siècle.— Κληρονομία, 6, 113—130.

55. Η Εθνική υψόνιση των Βουλγάρων και εμφάνις Βουλγαρικής εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία. Θεσσαλονίκη, σ. 40. (Национальное возрождение болгар и появление болгарского национального движения в Македонии).

1975

56. L'autobiographie en tant que genre littéraire de la littérature balkanique slave du 18^e siècle.— Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής, 19, σ. 429—436.

57. Isihastičke-tihovatelski pokret u poslednim decenijama XIV veka.— Teološki pogledi, VIII, s. 616—174.

58. Isihazam u doba kneza Lazara.— In: O knezu Lazaru. Naučni skup u Kruševcu 1971. Beograd, 93—103.

59. Sur les traces d'un acte du tsar Ivan Alexandre.— Cyrillomethodianum, III, 183—189.

1976

60. Pesma Bogorodici Dimitrija Kantakuzina u hilendarskim rukopisma.— In: Zbornik istorije književnosti. Knj. 10. Stara srpska književnost, Beograd, 181—196.

1977

61. Mount Athos and the Slavic Literatures.— Cyrillomethodianum, V, 1—35.

62. Νικόλαος Ανδριώτης, 1906—1976 (Некролог).— Μακεδονικά, 17, σ. ια—ιβ.

1978

63. Болгарогреческие культурные отношения в эпоху просвещения.— В кн.: Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. М., 356—360.

1979

64. Uloga svetoga Save u okviru slavenske književne delatnosti na svetoj Gori.— In: Medjunarodni naučni skup Sava Njemanjić — sveti Sava. Istorija i predanje. Decembar 1976. Beograd., 85—89.

65. Η πνευματική κληρονομία του Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους.— In: Μακεδονία — Θεσσαλονίκη. Αφιέρωμα τεσσαρακονταετηρίδος. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη, σ. 165—188. (Духовное наследие Кирилла и Мефодия у славян).

66. De la Philocalie au Dobrotoljubie. La formation d'un «sbornik».— Cyrillomet-hodianum, V, p. 208—213.

67. The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery (Rossikon) on Mount Athos. Thessaloniki, Los Angeles, 198 p.

68. Gregory Sinaites' Legacy to the Slavs: Preliminary Remarks.— Cyrillometho-dianum, VII, 113—165.

69. Рец. на: P. Lemerle. Les plus anciens recueils des miracles de saint Demetrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, I—II, Paris, 1979—1981.— Ελληνικά, 34, σ. 245—253.

70. Рец. на: К. Кувс. Иван Александровият сборник от 1348 г. София, 1981.— Cyrillomethodianum, VII, 266—269.

71. Νικόλαος Δ. Ουσπένσκι. Λόγος που εκφωνήθηκε στην τελετή αναγορεύσεως του σε επίτιμο διδάκτορά.— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επιτηρής Θεολογικής Σχολής, 26, σ. 571—575. (Николай Д. Успенский. Слово, произнесенное на торжественном присуждении степени почетного доктора).

72. Πηγές εκκλησιαστικής ιστορίας των ορθοδόξων Σλάβων. Τεύχος πρώτο. Θεσσαλο-νίκη, 284 σ. (Источники церковной истории православных славян. Том первый).

73. Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκη (1722—1794) και η ασκητικοφιλογολογική σχολή του. = 12 (Паисий Величковский (1722—1794) и его аскетико-филологическая школа).

74. The Testament of Photius Monembasiotes, Metropolitan of Russia (1408—1431): Byzantine Ideology in XVth century Muscovy.— Cyrillomethodianum, VIII—IX, 77—109.

75. Рец. на: J. Meyendorff. Byzantium and the Rise of Russia: A Study of Byzantino — Russian Relations in the Fourteenth century, Cambridge, 1981.— Cyrillometho-dianum, VIII—IX, 379—382.

76. Рец. на: G. Podskalsky. Christentum und theologische Literatur in der Kieve Rus' (988—1237). München, 1982.— Cyrillomethodianum, VIII—IX, 382—387.

77. The Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Romanians in the XVIIIth century. Texts Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722—1794). Ελληνικά, 1986, LV — 296.

78. Hesychasm as a Creative Force in the Fields of Art and Literature.— In: L'art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au XIVE siècle. Recueil des rapports du IVE colloque serbo-grec, Belgrade 1985, Belgrade, 117—123.

79. Рец. на: G. S. Soulis. The Serbs and Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dusan (1331—1355) and his Successors. Washington DC, 1984.— Cyrillomethodia-num, XI, 257—258.

80. Рец. на: G. Majeska. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth centuries. Washington DC, 1984.— Cyrillomethodianum, XI, 258—259.

81. Рец. на: E. Turdeanu. Apocryphes slaves et roumains de l'Ancien Testament. Leiden, 1981.— Cyrillomethodianum, XI, 259—261.

82. Рец. на: S. K. Batalden. Catherine II's Greek Prelate: Eugenios Voylgaris, 1771—1806. New York, 1982.— Cyrillomethodianum, XI, 261—264.

83. Рец. на: Кирило-Методиевски студии, 1—3. София, 1984—1986.— Cyrillo-methodianum, XI, 264—267.

84. Erfahrungen mystischer Theologie. Die Wiedergeburt orthodoxer Spiritualität durch den Starzen Paissi Welitschkowski (1722—1794).— Stimme der Orthodoxie, № 3, 37—39.

85. L'Institut Saint — Serge vu par un jeune théologien grec.— In: Les bénédicti-ons et les sacramentaux dans la liturgie. Conférences Saint — Serge. XXXIVE semaine études liturgiques, Paris, 23—26 juin 1987, éditées par A. M. Triacca et A. Pistoia. Roma, 373—382.

86. Μάξιμος ο Γραικός.— Σύναξη, 28, σ. 31—36 (Максим Грек)

87. Η Θεσσαλονίκη και το ομόδοξο Γένος: Ρώσοι και Έλληνες.— Μακεδονική ζωή, τεύχος 273, σ. 19—22. (Салоники и единовѣрный народ: русские и греки)
88. Το μήνυμα του Αγίου Όρους και η σύγχρονη Ευρώπη.— Συναξη, 29, σ. 37—42. (Весть Святой Горы и современная Европа)
89. Κυριλλος και Μεθοδιος οι εκ Θεσσαλονικης: Η βυζαντινη παιδεια στους Σλαβους. Θεσσαλονικη, 229 σ. (Кирилл и Мефодий из Салоник: греческая образованность у славян).
90. The National Regeneration of the Greeks as seen by the Russian Intelligentsia.— Balkan Studies, 30, № 2, p. 291—310.
91. The Greek Metropolitans of Kievan Rus': An Evaluation of their Spiritual and Cultural Activity.— Harvard Ukrainian Studies, 12/13, p. 430—445.

1990

92. Κύριλλος και Μεθόδιος, οι Θεσσαλονικείς άγιοι που άλλαξαν την Ιστορία.— Μακεδονική ζωή, 285, σ. 24—31. (Кирилл и Мефодий, солуняне, изменившие историю).
93. «Byzantium after Byzantium».— In: The Legacy of St. Vladimir. Byzantium — Russia — America. Crestwood, p. 31—39.
94. Paisij Veličkovskij and Grigorij Savvič Skovoroda: Two Unconventional Reactions to Kievan Theology.— In: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Roma, p. 613—621.

ΠΑΜЯΤΙ ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВА

Софийский университет Св. Климента Охридского и факультет славянской филологии понесли тяжкую утрату. 2 мая 1991 г. скончался видный болгарский ученый — проф. Велчо Велчев — один из создателей и наиболее видных представителей современной болгарской славистики и русистики.

Велчо Велчев родился 15 июня 1907 г. во Враце. Он окончил гимназию в своем родном городе, а в 1934 г. — филологический факультет Софийского университета по специальности славянская филология. С 1936 по 1942 г. он работал учителем в Кирджали, Пловдиве и Софии, а с начала 1943 г. — доцентом болгарской и славянской филологии в Скопском университете.

В течение десятилетий его жизнь и деятельность были самым тесным образом связаны с Софийским университетом Св. Климента Охридского. С 1945 г. он был профессором русской литературы на филологическом факультете. Он был основателем и первым руководителем кафедры русской литературы в университете. Поколения болгарских славистов хранят память об этой высокооцененной личности, о его одухотворенных лекциях по истории древнерусской и классической русской литературы. Высокой оценки заслуживает его деятельность в качестве одного из активных и талантливых организаторов академического филологического образования, ревностного служителя делу изучения и популяризации русского языка и русской культуры у нас.

Богатое научное наследие проф. В. Велчева чрезвычайно разносторонне и плодотворно. Велик его вклад в исследование болгарской литературы древнего периода и Возрождения, русской литературы и болгарско-русских литературных и культурных взаимоотношений. Его научные труды в этой области доказывают, что он является одной из наиболее значительных фигур в современной болгарской литературоведческой славистике и русистике.

Болгарская русистика и факультет славянской филологии прощается с одним из виднейших и заслуженных своих представителей. Светлая ему память!

*Факультет славянской филологии
Кафедра русской литературы
Софийского университета*

НОВЫЕ КНИГИ

Известные советские лингвисты В. Н. Топоров, С. Б. Бернштейн, В. А. Дыбо, Е. А. Хелимский, С. Л. Николаев и другие являются авторами сборников (изданы офсетным способом в Институте славяноведения и балканистики АН СССР):

1) Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе. Памяти В. М. Иллич-Свитыча. Тезисы докладов конференции. М., 1990. (63 с. Тираж — 400 экз. Цена — 1 руб.);

2) Тезисы докладов. Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию В. А. Дыбо. М., 1991 (225 с. Тираж — 300 экз. Цена — 3 руб. 50 коп.);

Их можно приобрести только в Институте (117334, Москва, Ленинский пр-т, 32-а, корп. В), адресовав заявки ученому секретарю. Книги высылаются наложенным платежом.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1991 ГОДУ

СТАТЬИ

Блюменкранц М. А. Легенда в историко-философской перспективе . .	№ 5
Борисёнок Ю. А. Контакты М. А. Бакунина с представителями польского освободительного движения накануне революций 1848—1849 годов	№ 2
Валента Я. (ЧСФР). «Дело» маршала М. Н. Тухачевского (к вопросу о хронологии и интерпретации)	№ 4
Василевски Тадеуш. (ПР). Славянское происхождение солунских братьев Константина-Кирилла и Мефодия	№ 4
Василенко В. Н. Забытые и неизвестные страницы творческого наследия Ю. И. Крашевского	№ 5
Венедиктов Г. К. Восемьдесят лет старейшине советских славистов	№ 1
Гавранек Ян. (ЧСФР). Чешская, польская и словацкая интеллигенция в Австро-Венгрии (Сравнительный анализ)	№ 3
Герд А. С. К реконструкции эталонной модели церковнославянского языка	№ 3
Гибянский Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг.: Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	№ 3
Гибянский Л. Я. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг.: Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года (продолжение)	№ 4
Горизонтов Л. Е. Польская история на Западе и в Советском Союзе: опыт сопоставительного историографического обзора	№ 1
Дзиффер Дж. (Италия). Рукописная традиция пространного Жития Константина	№ 3
Достян И. С. Политика паризма в Восточном вопросе: верны ли оценки К. Маркса и Ф. Энгельса	№ 2
Ефимова В. С. Старославянские отадъективные наречия с суффиксом -ъ	№ 3
Ефимова В. С. К открытию собрания древних славянских рукописей на Синае (в связи с публикацией монографии: Tarnanidis I. Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988)	№ 6
Киклевич А. К. Славянские отрицательные местоимения как грамматический класс	№ 5
Ковтун Е. Н. Фантастика Герберта Уэллса и Карела Чапека	№ 2
Косик В. И. Константин Николаевич Леонтьев: реакционер, пророк? . .	№ 3
Кузнецовский В. Д. Какая концепция самоуправления осуществлена в Югославии? (Реквием по Борису Кидричу)	№ 2
Липатов А. В. Эволюция романа-эпопеи («Ночи и дни» Марии Домбровской: жанровые традиции и авторская индивидуальность)	№ 2
Липатов А. В. Чеслав Милош в журнале Польской Академии наук . .	№ 6
Масленникова Л. И. О судьбе имен существительных общего рода в одном польском говоре на территории Литвы	№ 2
Медведева О. Интертекстуальность и восприятие: драма Тадеуша Мицкiewicza «Князь Патемкин»	№ 6
Михутина И. В. Политические, социальные и экономические аспекты аграрных реформ межвоенного периода в странах Центральной и Юго-Восточной Европы	№ 5
Мошоя Т. Н. Аналитические формы косвенных наклонений в славянских языках	№ 4
Орел В. Э. Балтийская гидронимия и проблемы балтийского и славянского этногенеза	№ 2
Петрова Л. Я. К вопросу о древнеславянском переводе Слов Григория Богослова	№ 4
Пименова И. В. «Новая» польская интеллигенция: специфические проблемы становления	№ 3
Прокофьева Д. С. О некоторых чертах «поэтической прозы» эпохи романтизма	№ 6
Семенов К. Н. Режим БЗНС — форма социал-максимализма? К постановке проблемы	№ 6
Сладек З. (ЧСФР). Русская и украинская эмиграция в Чехословакии	№ 6
Сляский Ян. (ПР). Из истории итальяно-польско-восточнославянских литературных связей XVI—XVIII веков	№ 2
Титова Л. Чешско-венгерские культурные взаимоотношения на этапе становления и развития национальной культуры	№ 3
Торбуся А. (Польша). Крестьянский вопрос в идеологии русского, украинского и польского освободительных движений 40-х годов XIX века . .	№ 5
Фрейденберг М. М. Проблемы истории Дубровника: рагузистика за последние двадцать лет	№ 2
Хорва О. А. Актуальные вопросы изучения культуры Чехии середины XIX в. (От «чешской культуры XIX в.» — к изучению культуры этнически неоднородного общества Чешских земель. К постановке проблемы)	№ 4

Хоутзагерс Х. П. (Нидерланды). Имперфект в чакавских говорах острова Паг	№ 5
Числов И. М. О последнем издании Карейского типикона св. Саввы Сербского (анализ наборной транслитерации текста)	№ 6

ДИСКУССИИ

Иванов С. А. Откуда начинать этническую историю славян? (По поводу нового труда польских исследователей)	№ 5
Кузнецовский Вл. Д. Письмо в редакцию	№ 4
Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940 гг.)	№ 1
Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы накануне нападения Германии на СССР (сентябрь 1940 — июнь 1941 гг.)	№ 4
Проблемы культурного пограничья	№ 1
СССР и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в середине и второй половине 1940-х годов	№ 6

СООБЩЕНИЯ

Кишкин Л. С. Срезневский в Словакии (По материалам семейного архива)	№ 4
Клейн Л. С. Языческий подход к лингвистике	№ 4
Лаптева Л. П. Русский славист XIX в. П. П. Дубровский (1812—1882)	№ 6
Мароевич Радмилло (СФРЮ). Первые русские переводы Хасанагиницы (поэтическая полемика Востокова и Пушкина)	№ 4
Ульяновский В. И. Дело пана маршалка Йозефа Вандалина из Великих Концид Мнишка и тайные документы Лжедмитрия I	№ 3

ПОРТРЕТЫ

Топоров В. Н. Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения)	№ 1
---	-----

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Аксенова Е. П. Из истории советской славистики в 1930-е годы	№ 5
--	-----

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Кишкин Л. Галерея русской живописи в Находе (К истории чешско-русских связей в области искусства)	№ 2
Рокина Г. Неопубликованная рукопись Яна Коллара «Die Gotter von Retga»	№ 2
Смирнов Л. Н. О переводах произведений Св. Гурбана-Ваянского в до-революционной России (к 75-летию со дня смерти)	№ 6

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Аникин А. Е. A Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika	№ 4
Барабанов Н. Д. Поливяни Д. И. Средневековият български град през XIII—XIV вв. Очерци	№ 5
Воробьева И. Г. I. Pederin. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409—1797)	№ 6
Гогина К. П., Чуркина И. В., Т. Ivantyšynova. Česi a Slováci v ideológii ruských slaviofilov	№ 1
Дмитриев М. В. Плохий С. Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв.	№ 3
Д. С. Украинская литература в общеславянском и мировом литературном процессе	№ 2
Журавлев В. G. Shevelov. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900—1941). Its State and Status	№ 3
Загнитко А. А. I. Р. Вихованець. Частици мови в семантико-грамматичному аспекті	№ 1
Злыднев В. И. Новый труд по истории болгарской литературы	№ 6
Иванова О. В. Φ. Μαλιγκούδης Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα	№ 1
Кузаков В. К. Цветана Чолова. Естествонаучните знания и средновековна България.	№ 3
Марьяна В. В. Gebhart J., Koutek J., Kuklik J. Na frontách tajné války. Kapitoly z boje československého zpravodajství proti nacismu v letech 1938—1941	№ 2
Мельников Г. П. J. Pánek. Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance	№ 2

Михайлов Н. А. Маројевић Р. Лингвистика и поэтика превођења: међусловенски превод	№ 5
Муртузалиев С. И. Елена Грозданова. Българската народност през XVII век. Демографско изследване	№ 3
Носов Б. В. T. Cegielski, L. Kadziela. Rosbior Polski 1772—1793—1795	№ 6
Орел В. Э. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка	№ 4
Пахомов Ю. В. Dašić M. Uvod u istoriju sa osnovama pomoćnih istorijskih nauka	№ 4
Полывянныи Д. И. Ангелов П. Българската средновековна дипломатия	№ 4
Семенов К. Д. Петрова. Самостоятельное управление на БЗНС. 1920—1923 гг.	№ 2
Титова Л. Vznik českého profesionálního divadla	№ 1
Хорова А. А. Справочник биографических справочников	№ 3
Цейтлин Р. М. Etymologický slovník jazyka staroslovénského. 1. Úvod, zkratky. A — blagъ	№ 2

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Васильев М. А. Джон Симон Габриэль Симмонс. Указатель славяноведческих работ. Составитель А. Б. Свицер	№ 4
Л. К. Известия о России в чешских календарях XIX века	№ 4
Мельников Г. П. Království dvojího lidu. České dějiny let 1436—1526 v soudobé korespondenci	№ 4
Серапинова Е. П. Е. Ф. Фирсов. Эволюция парламентской системы в Чехословакии в 20-е годы. Спецкурс	№ 4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Библиография работ А.-Э. Н. Тахиаоса (к 60-летию со дня рождения)	№ 6
Болдт Ф. (Германия). Движение «Euregio» в новой единой Европе, руководствующейся принципами сотрудничества	№ 5
Будова Л. Международная конференция «Демократическая концепция мира в творчестве Карела Чапека и тоталитаризм XX века»	№ 4
Булатова Р., Дыбов В. Конференция «Сравнительно-историческое языковедение на современном этапе»	№ 2
Васильев М. А. Создание Научного центра общеславянских исследований	№ 2
Венедиктов Г. Памяти Юрия Сергеевича Маслова	№ 4
Горяинов А. Н. Марбургское заседание Международной комиссии по истории славистики	№ 4
Гранчаки И. М., Зимомря Н. И. В контексте межславянских взаимосвязей	№ 5
Досталь М. Ю. IV Пичетовские чтения	№ 2
Досталь М. Ю. Новое о М. П. Погодине	№ 6
Жакова Н. К. Международный семинар по Славянской Библии	№ 3
И. К. Собрание Международной комиссии по историко-славистическим исследованиям	№ 3
Кириллова-Угрюмова Т. В. Конференция, посвященная памяти А. Х. Клеванского	№ 6
Кузьмин М. Н. Конкурс	№ 3
Масленникова Е. Н. 175-летие Людовита Штура	№ 4
Медведева О. Конференция, посвященная Я. Корчаку	№ 1
Медушевский А. Н. Конференция советских и польских историков в Ольштыне	№ 3
Мельников Г. П. Конференция «Славяне и их соседи», посвященная 70-летию со дня рождения В. Д. Королюка	№ 5
Мочалова В. Конференция «Поэтика паралитературных жанров»	№ 1
Ненашева З. С. XII Всесоюзная конференция историков-славистов	№ 3
Новые книги	№ 4
Новые книги	№ 5
Новые книги	№ 6
Памяти Велчо Велчева	№ 6
Пашенко Е. Н. Конференции, посвященные эпохе барокко	№ 3
Шведова Н. В. Авангард в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы в первой половине XX века	№ 5

CONTENS

DISCUSSIONS

The USSR and the countries of Central and South-Eastern Europe in the middle and in the second half of 1940s	3
--	---

ARTICLES

<i>Sladek Z.</i> (CSFR). Russian and Ukrainian emigration in Czechoslovakia. <i>Semenov K. N.</i> Is the regime of BAPU a form of social maximalism? On the way the problem is put. <i>Lipatov A. V.</i> Czeslaw Milosz in the journal of the Polish Academy of Sciences. <i>Prokof'eva D. S.</i> On some features of «poetical prose» in the Age of Romanticism. <i>Medvedeva O.</i> Intertextuality and perception: the drama of Tadeusz Miciński «Prince Patemkin». <i>Chislov I. M.</i> On the latest edition of St. Savva Srpski's typicon (analysis of the type-setting transliteration of the text). <i>Efimova V. S.</i> On the discovery of the collection of the ancient Slavic manuscripts on Sinai (in connection with the publication: Tarnanidis I. Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catarine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988)	14
---	----

COMMUNICATIONS

<i>Lapteva L. P.</i> Russian slavist of the XIXth century P. P. Dubrovskij (1812—1882)	93
--	----

PEOPLE, EVENTS, FACTS

<i>Smirnov L. M.</i> On the translations of the works of Sv. Gurban-Vajansky in the pre-revolutionary Russia (toward the 75th anniversary of death)	102
---	-----

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Vorob'eva I. G</i> I. Pederin. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409—1797). <i>Nosov B. V.</i> T. Cegieski, L. Kadziela. Rosbiory Polski 1772—1793—1795. <i>Zlydnev V. I.</i> A new book on the history of Bulgarian literature.	109—112
--	---------

SCIENTIFIC LIFE

<i>Dostal M. Yu.</i> New data about M. P. Pogodin. <i>Kirillova-Ugryumova T. V.</i> Conference in the memory of A. Ch. Klevanskij. Bibliography of works of A. E. N. Tachiaos (on the 60th anniversary of birth). In the memory of Velcho Velchev. The new books	116
Index of articles published in 1991	125

Технический редактор *Е. В. Симицына*

Сдано в набор 12.08.91	Подписано к печати 08.10.91	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 11,2	Усл.-кр.-отг. 11,9
Тираж 1026 экз.	Уч.-изд. л. 13,3	Бум. л. 4,0
	Зак. 1816	Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а
 Телефоны 938-01-20, 938-08-09
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.
Индекс 70891